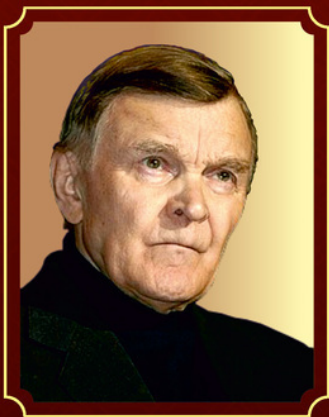


**Юрий
БОНДАРЕВ**



МГНОВЕНИЯ

РАССКАЗЫ

Юрий Васильевич Бондарев

Мгновения. Рассказы (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14472081
Бондарев Ю. В. Мгновения. Рассказы: ИТРК; Москва; 2014
ISBN 978-5-88010-319-5

Аннотация

Юрий Васильевич Бондарев выдающийся русский писатель, признанный классик советской литературы. Его произведения изданы многотысячными тиражами не только в нашей стране, но переведены на иностранные языки и вышли в свет во многих странах мира.

В этой книге напечатаны краткие, выразительные по содержанию и смыслу литературно-философские эссе, которые сам автор назвал мгновениями, избранные рассказы и рассказ-повесть «Последние залпы».

Автор пишет о сложных человеческих отношениях в обществе, о психологических, социальных и героических поступках, о событиях и явлениях жизни и природы.

Содержание

Мгновения	8
Молитва	10
Неистовство	11
На рассвете после боя	12
Не любовь, а боль	14
Счастье	15
Ожидание	16
Оружие	21
Звезда детства	23
Крик	24
Рассказ женщины	26
Отец	27
Мать	31
Balistes Capriscus	34
Стандарт	35
Непостижимое	37
Ссора	38
Миг	39
Продажа	41
Идеал	44
Схимник	45
Вдова	47
Малярия	49

В некий час	56
Но все-таки...	58
Пыль	59
Бессилие	61
Красота	63
Зеркало	65
«Как мне жаль тебя...»	71
Свет в окне	73
Вечером	77
Апрельский день	79
Осенью	81
Тост	82
Звезда и Земля	85
Отчаяние	90
Диалог на скамейке в парке	91
Диалог в очереди	92
Степь	94
Самый приятный запах	95
Разговорчивый	96
«Как я бросил курить...»	97
«Зачем я так рано родился!»	98
Неравная доля	100
Лунный свет	101
Нас было много	102
Атака	103
В окружении	105

Женственность	107
Реставратор	110
Сны	111
Рассказ балерины	123
«Почему я пожал ему руку?»	125
Соседи	127
Давнее гадание	128
Щенок	129
Перед зеркалом	132
«Не надо останавливать машину»	133
Ночной разговор	135
Взгляд	136
На круги своя	138
Бегство	145
Предел и надежда	151
Париж, воскресенье	152
Венеция	156
Город Арнхем, 100 км от Амстердама	159
Щегол	161
Звездные часы детства	162
Единое	164
Свобода	165
Написанное	166
Лес и проза	167
Тот день	168
Талант и слава	172

Мгновение мгновения	173
Имя этого судьи – правда	177
Мое поколение	183
Сталинград	189
Конец ознакомительного фрагмента.	192

Юрий Бондарев

Мгновения. Рассказы

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

© Ю. В. Бондарев, 2014

© Издательство ИТРК, 2014

Мгновения

*Жизнь есть мгновение,
Мгновение есть жизнь.*



Молитва

... И если на то будет Воля Твоя, то оставь меня на некоторое время в этой моей скромной и, конечно, грешной жизни, потому что в родной моей России я узнал много печали ее, но еще не узнал до конца земную красоту, таинственность ее, чудо ее и прелесть.

Но дано ли будет это познание несовершенному разуму?

Неистовство

Море гремело пушечными раскатами, било в мол, взрывалось снарядами по одной линии. Обдавая соленой пылью, фонтаны взлетали выше здания морского вокзала. Вода опадала и снова катилась, обрушиваясь на мол, и фосфорно вспыхивала извивающейся шипящей горой исполинская волна. Сотрясая берег, она ревела, взлетала к лохматому небу, и было видно, как в бухте мотало на якорях трехмачтовый парусник «Альфа», раскачивало, бросало из стороны в сторону, накрытые брезентом, без огней, катера у причалов. Две шлюпки с проломанными бортами выкинуло на песок. Кассы морского вокзала наглухо закрыты, везде пустыньность, ни единого человека на ненастном ночном пляже, и я, продрогнув на сатанинском ветру, кутаясь в плащ, шел в хлюпающих ботинках, шел один, наслаждаясь штормом, грохотом, залпами гигантских разрывов, звоном стекол разбитых фонарей, солью брызг на губах, в то же время чувствуя, что происходит какое-то апокалипсическое таинство гнева природы, с неверием помня, что еще вчера была лунная ночь, море спало, не дышало, было плоско как стекло.

Не напоминает ли все это человеческое общество, которое в непредугаданном общем взрыве может дойти до крайнего неистовства?

На рассвете после боя

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени, будто готово быть со мной неразлучно. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари, одно пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское, – увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в нескольких шагах:

– Утянули, а? Вот фрицы, тудить иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон, считай... Десять, стальной, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

– Как же это? И мы – ничего?..

– «Как, как». Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

– И вы не видели? Не слышали?

– Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в ложине слышал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел, капитану доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно не утащат, скоро вперед пойдем. Стальной, двинем скоро, школьная твоя голова!

– Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Страсть надоело...

– То-то. Глуп ты еще. До несуразности. Наступление вести – не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

Не любовь, а боль

– Вы спрашиваете, что такое любовь? Это начало и конец всего на белом свете. Это рождение, воздух, вода, солнце, весна, снег, страдание, дождь, утро, ночь, вечность.

– Не слишком ли романтично в наше-то время? Красота и любовь – истины архаичные в век стрессов и электроники.

– Вы ошибаетесь, мой друг. Есть четыре непоколебимые истины, лишённые интеллектуального кокетства. Это рождение человека, любовь, боль, голод и смерть.

– Я с вами не согласен. Все относительно. Любовь потеряла чувства, голод стал средством лечения, смерть – замена декораций, как думают многие. Осталась нерушимой боль, которая может объединить всех... не очень здоровое человечество. Не красота, не любовь, а боль.

Счастье

Муж бросил меня, и я осталась с двумя детьми, но из-за моей болезни их воспитывали мои отец и мать.

Помню, когда я была в доме родителей, мне не спалось. Я вышла на кухню, чтобы покурить, успокоиться. А на кухне горел свет, и там был отец. Он писал какую-то работу по ночам и тоже вышел на кухню покурить. Услышав мои шаги, он обернулся, и лицо его показалось таким усталым, что я подумала: что он болен. Мне стало так жаль его, что я сказала: «Вот, папа, мы с тобой оба не спим и оба мы с тобой несчастливы». – «Несчастливы? – повторил он и посмотрел на меня, вроде бы ничего не понимая, заморгал добрыми глазами. – Что ты, милая! О чем ты?.. Все живы, все в сборе в моем доме – вот я и счастлив!» Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе – ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь.

А когда я уезжала к себе на квартиру, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке, и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы любим тебя...» Как много и мало нужно человеку для счастья, не правда ли?

Ожидание

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела лишь отдельные вехи радости, все остальное представлялось настоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчи-

ка наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия тех прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неуголенности поцелуев. И мы оба, молодые, сильные, изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань – нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

За окном, исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, уже не были подвластны ни времени, ни пространству, – мы создавали, творили что-то особенно главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком двадцатого столетия. Мы возвращались куда-то назад, в бездну первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед

ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

И если бы спросили тогда, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами горизонта, манила нас надежда на облегчение, мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе с тем очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предвещающий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И подпрыгнул молодым

козлом возле телефона, и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моей судьбы.

До знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И вот сейчас, прожив лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал?

Нет, теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгнове-

ний жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..

Оружие

Когда-то, очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие.

Гладко отшлифованный металл офицерских парабеллумов отливал вороненой сталью, рубчатая рукоятка как бы сама просилась в объятия ладони, спусковая скоба, тоже до щекоткой скользкости отполированная, требовала погладить ее, просунуть указательный палец к упругости спускового крючка; предохранительная кнопка сдвигалась, освобождая золотистые патроны к действию; во всем готовом к убийству механизме была чужая томящая красота, какая-то тупая сила призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению.

Браунинги и маленькие «вальтеры» поражали своей игрушечной миниатюрностью, никелем ствольных коробок, пленительным перламутром рукояток, изящными мушками над круглыми дульными выходами — в этих пистолетах все было удобно, аккуратно выточено, с женственной нежностью и была ласковая смертельная красота в легких и прохладных крошечных пулях.

И как гармонично сконструирован был немецкий «шмайссер», невесомый, совершенный по своей форме автомат, сколько человеческого таланта было вложено в его эстетическую стройность прямых линий и металлических из-

гибов, манящих покорностью и словно бы ждущих прикосновения к себе.

Тогда, много лет назад, я не все понимал и думал: наше оружие грубее немецкого, и лишь подсознательно чувствовал некую противоестественность в утонченной красоте оружия смерти, оформленного как дорогая игрушка руками самих людей, смертных, недолговечных.

Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времен – пищалями, саблями, кортиками, кинжалами, секирами, пистолетами, видя роскошную инкрустацию оружейных лож, бриллианты, вправленные в эфесы, золото, в рукоятках мечей, я с чувством сопротивления спрашиваю себя: «Почему люди, подверженные, как и все на земле, ранней или поздней смерти, делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства? Есть ли какой-нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения – человеческую жизнь?»

Звезда детства

Серебристые поля сверкали над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из глубин Галактики, из запредельных высот, двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я остановился на опушке березняка, под тихой листвой, и смотрела на меня, лучась родственно, ласково из-за черной крыши, когда я дошел до дома.

«Вот она, — думал я, — эта моя звезда, теплая, участливая, звезда моего детства! Когда я видел ее? Где? И может быть, я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с той же родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с космосом, что до сих пор все-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства?!

Крик

Была осень, осыпались листья, скользили по асфальту мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом уголке московской улицы уже до ступиц утопали в шуршащих ворохах колеса машин, как бы покинутых вдоль обочин. Листья лежали на крыльях, собирались кучками на ветровых стеклах, а я шел и думал: «До чего хороша поздняя осень – ее винный запах, ее листья на тротуарах, на машинах, ее горная освеженность... Да, все естественно и потому прекрасно!..»

И тут мне слышалось, что где-то в доме, над этими тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала женщина.

Я остановился, глядя на верхние окна, пронзенный криком боли, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, мучали, пытали кого-то, заставляя корчиться, извиваться под каленым железом. Окна были одинаковы по-предзимнему закрыты наглухо, а крик женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем, визгом, рыданиями крайнего отчаяния.

Что там было? Кто мучил ее? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И все погасло во мне – и богоданный московский листопад, и умиление порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, поте-

рявшее ощущение блага всего сущего – неповторимого своего существования.

Рассказ женщины

Когда я сына в армию провожала, очки черные надела, иду, думаю: заплачу если, он не увидит меня такой. Хотела, чтоб красивой он меня запомнил...

Гармошка там, парни знакомые были, прощались все, и дядя пришел, Николай Митрич, четырнадцать медалей у него за войну, и нетрезвый уже. Смотрел он, смотрел на парней, на девушек, на Ванечку-то моего и заревел, ровно ребенок. Я сына не хочу расстроить, очки у меня черные, терплю, говорю ему: «Ты на дядьку не смотри, пьющий он, слезу-то пустил. Ты в Советскую Армию идешь, я тебе посылочку пришлю, денежек, ты внимания не обращай...»

А он – дерг мешок-то и пошел, отворачивается от меня, чтобы нервы не показать, расстройство свое. И не поцеловал даже, чтоб чего не случилось. Так и проводила я Ванечку... По десяточке ему посылаю...

А красивый он у меня, девушки ему перчатки дарили. Приходит однажды, говорит: «Вот перчатки Лидка дала, заплатить ей, мама, или как?» – «А ты, – говорю, – ей тоже чего подари, и хорошо будет».

Токарем он работал, да стружка в глаз попала, потом в шоферы пошел, да машиной ворота какие-то своротил, еще глупый был, а тут – в армию. Солдат он сурьезный сейчас, на посту стоит. В письмах пишет: «На посту стою, мама».

Отец

Летний среднеазиатский вечер, сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка, заросшего карагачами, верхушки которых купаются в неправдобно-покойном после солнечного ада закате.

Я сижу на раме, вцепившись в руль, мне позволено хозяйничать сигнальным звоночком с полукруглой никелированной головкой и тугим язычком, отталкивающим палец при нажатии. Велосипед катится, звоночек тренькает, делая меня взрослым, потому, что за спиной отец вращает педали, поскрипывает кожаным седлом, а я чувствую движение его коленей – они то и дело задевают мои ноги в сандалиях.

Куда мы едем? А едем мы в ближнюю чайхану, что находится на углу Конвойной и Самаркандской, под старыми тутовниками на берегах арыка, который по-вечернему бормочет между глинобитными дувалами. Потом мы сидим за столиком, липким, покрытым клеенкой, пахнущей дыней, отец заказывает пиво, разговаривает с чайханщиком, уса-тым, приветливо-крикливым, загорелым. Тот протирает бутылку тряпкой, ставит два стакана перед нами (хотя я не люблю пиво), подмигивает мне, как взрослому, и, наконец, подает в блюдечках жареный миндаль, посыпанный солью... Помню вкус хрустящих на зубах зерен, за чайханой, силуэты минаретов на закате, плоские крыши в окружении пирами-

дальних тополей...

Отец, молодой, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня, вечерним лепетом арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.

И очень четок в памяти моей еще один вечер.

В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, чуть-чуть колышется тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и темная полоска пластыря повыше его брови. Я не могу вспомнить, почему отец сидит у окна, но мне представляется, что он вернулся с войны, ранен, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба неслышными голосами), – и ощущение разлуки, сладкой опасности неизмеримого пространства, лежащего за нашим двором, отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляет меня испытывать особую близость к нему, похожую на восторг при мысли о домашнем уюте собранной нашей семьи в этой маленькой комнате.

О чем говорил он с матерью – не знаю. Знаю, что тогда и в помине не было войны, однако сумерки во дворе, пластырь на виске отца, его военного покроя тужурка, задумчивое лицо матери – все так действовало на мое воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец, вернулся, раненный, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое:

в час победного возвращения (в сорок пятом году), я, подобно отцу, сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил всю невероятность встречи, как если бы прошлое повторилось. Может быть, то было предвестием моей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их всемогущими рыцарями, в то время как они обыкновенные смертные с заурядными заботами.

До сих пор помню день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел (мне было лет двенадцать), – и это ощущение живет во мне виной.

Была весна, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на тротуаре) и, вдруг, неожиданно заметил знакомую фигуру неподалеку от дома. Мне бросилось в глаза: он оказался невысокого роста, короткий пиджак некрасив, брюки, нелепо поднятые над щиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук, с булавкой, выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Лицо его всегда выражало доброту, уверенную мужественность, а не усталое равнодушие, оно раньше никогда не было таким немолодым, таким негероически-безрадостным.

И это обнаженно обозначалось – и все вдруг представилось в отце обыденным, унижающим и его и меня перед

школьными моими приятелями, которые молча, нагловато, сдерживая смех, смотрели на эти по-клоунски большие поношенные башмаки, выделенные дудочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, а я, покраснев от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим отца, броситься в жестокую драку, восстановить святое уважение кулаками.

Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку с приятелями – боялся потерять их дружбу? Или не рискнул сам показаться смешным?

Тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий день я тоже окажусь чьим-то смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.

Мать

«Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится
вдаль...»

Я сел на диван, чтобы успокоиться, потер лоб, и когда стал вспоминать слова любимой песни моей матери, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой любовью и тоской, что вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто сквозной ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприютной больнице, одна, незащищенная перед болью, в забытии думала обо мне с безмерной любовью, которая бывает на земле только у матерей. Но когда и где я впервые слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?

И мне стало представляться как она босиком ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала негромко прелестным голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о когда-то молодой грусти этому утру, солнцу, плещущему арыку: «Я вам скажу один

секрет: кого люблю, того здесь нет...» А я, до восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце: ведь отец редко бывал в отъезде. Он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее волосы, а она почему-то обреченно прижималась щекой к его груди.

Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне, потом, обняв, начала гладить мою голову нежными пальцами и говорила шепотом, что отчего-то взгрустнулось, но вот прошло, миновало...

Но почему иногда тосковала она? В какие дали, к кому тянуло ее? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну...

А теперь в беспамятстве, на больничной койке, она витала над краем пропасти, и, видимо, в момент краткого прояснения вспомнила обо мне с той любовью, с той непереносимой виной в душе. И я ходил по кабинету, стонал, кусал губы, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и бормотал, как в беспамятстве, незатейливые эти слова:

– Кого-то нет, кого-то жаль...

Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не при-

ходило спасение от самого себя.

Balistes Capriscus

В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба Balistes Capriscus – рыба с человеческим лицом, раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек больной насморком, приоткрывая губастый рот, – не рыба, а вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, кошмарное видение, некий персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.

Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?

Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы-полурыбы создало их воображение – обостренная фантазия, – направленное против физического и нравственного уродства человека.

Действительность выше самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображении жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или же безобразности многоликой и многогранной реальности.

Стандарт

На тротуарах текла вечерняя толпа, мимо подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами.

На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые женщины в шляпах, мужчины в костюмах, оттуда доносился иностранный говор. Два солдата у киоска ели с аппетитом сосиски, макая их в горчицу на блюдечках, и, то и дело оглядываясь на проходящих девушек, жевали сильными челюстями.

Юные люди с гладкими прическами, распахнув плащи, засунув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, дымили сигаретами, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.

Я дошел до конца площади, постоял у газетного киоска, читая названия иллюстрированных журналов – на меня смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевиных обложках: лики выражающие невинность.

Это множество лиц, стандарт красоты, одежды, пленительно-заученных улыбок, костюмных поз не вызывало чувств и я вспомнил американский журнал «Плейбой» (жур-

нал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии «Мисс красоты», там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы, – среди избранных были известные актрисы, знаменитые спортсменки, открывающие красоты своих втянутых животов, мускулатуры, неженственной силы.

Разумеется, то Америка, но и в европейских городах с допусками плюс-минус давно определен стандарт женской притягательности. В ней нет изюминки, нет той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота фотогеничная, как белый цвет бумаги.

Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинок, о лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе загадочной Моне Лизе, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.

Почему же стандартная скука секса или парфюмерной рекламы стала нормой женской прелести, всегда многозначной, застенчивой, непостижимой?

Непостижимое

Всякий раз в утренние часы, когда я выхожу в опустевший, покинутый птицами дачный сад и когда вижу на траве сквозные лучи низкого солнца, вдыхаю уже северную влагу земли от поредевших клумб, где в конце лета распустились георгины и флоксы, предвестники зябких поздних зорь, то меня охватывает тревога предупредительного звонка на вокзале моей жизни и не покидает сознание, что где-то есть обетованные края, туманы морских побережий, незнакомые улицы чужих городов, пестрые витрины на набережных, которые я должен обязательно увидеть.

Почему в сентябрьскую пору я чувствую желание ехать куда-то в поисках неизведанных эдемских земель?

Ссора

Он наблюдал за капризной игрою ее лица, за тем, как она, закидывая голову, громко смеялась, окруженная какими-то незнакомыми ему молодыми людьми, видимо, острившими поочередно, и пожимал плечами: «Ну для чего так смеяться, так играть глазами, как будто в самом деле очень смешно?»

Он смотрел на нее и чувствовал раздражение от этих чрезмерных женских усилий казаться привлекательной, оживленной после недавнего разговора между ними и ее неприязненного лица, какого не видел ни разу за время их близости, и после брошенных ему в грудь театральных слов:

– О, не прикасайся ко мне!

Миг

Она сказала, прижимаясь к нему:

– Как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили – как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились, – один час или вся жизнь?

Был погашен свет, с ночной улицы доносился глуховатый, затихающий шум, однозвучно постукивали часы, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра, – и все представлялось, неизменным, как эта полночь и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить, с привычным вставанием, умыванием, завтраком, работой...

И вдруг ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездонность, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографий, желаний, без отсчета лет.

Целая его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась: прожитые годы, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, здоровье (они, эти прошлые годы, канули куда-то) и не мог представить будущее – не подобное ли испытывает живая песчинка, затерянная и

обреченная раствориться в безмерности, в пространстве?

И все-таки это был миг не песчинки, и оттого что он уловил и понял эти открывшиеся голгофные секунды, ему стало невыносимо жаль и себя и ее, женщину, которую любил, с которой прожил и разделил все в жизни. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась их обоих.

Он поцеловал ее с нежностью и шепотом пожелал: «Спокойной ночи, прости меня».

Закрыв глаза, он попытался не думать. Ему было не по себе от внезапно открывшихся ворот в нежное, бесприютное скитание своего сознания, необъяснимо потерявшего память о молодости.

Продажа

– Оля плакала, – сказала ему жена вечером. – Она не хотела, чтобы ты это делал. И сейчас накрылась с головой одеялом и не спит.

И он вспомнил морозное утро, заледенелый забор комиссионного магазина в Южном порту, на окраине Москвы, окончившего около ворот сторожа в тулупе, затем – въезд во двор, крик этого сторожа, притоптывающего валенками на снегу: «На эстакаду давай!»

На эстакаде он выключил мотор, и машина с настороженностью затихла, возвышаясь над стоявшими вокруг машинами, уже завьюженными, оставленными здесь хозяевами.

Когда приемщик ничего не выражающим взглядом бегло осмотрел мотор, кузов, багажник, а потом с равнодушной небрежностью сел за руль и задним ходом тронул ее с эстакады, она подчинилась ему и развернулась на ледяном поле вблизи других машин, вопросительно наблюдавших за ней круглыми стеклами фар, и затем как бы в растерянности, покатила к дверям конторки комиссионного магазина, где должна была произойти последняя процедура. Он все это видел, но был еще спокоен и сдержан.

– Оформим, – сказал приемщик, и, услышав его голос, он кивнул молча.

А полчаса спустя, после составления акта продажи, оцен-

ки и утвердительных росписей, он вышел из натопленной конторки, чтобы совершить последнее – передать ключ от зажигания перегонщику, молодому парню в полушубке, из овчинного воротника которого виднелось сизое, озябшее личико с мокрым носом и посинелыми губами.

Машина стояла так же около конторы, по обыкновению терпеливо ожидая его, готовая послушно зарокотать мотором, охотно покатить через всю Москву домой, в обжитой гараж, где вечерами под электрической лампочкой было подомашнему уютно пахло бензином и маслом. Он посмотрел на переднее стекло, на капот, припорошенные снежком, надутым с поля январским ветром, потом увидел подошедших к машине нескольких покупателей, которые начали торгашески суетиться, придиричиво оглядывать, ощупывать ее, – и тогда что-то дрогнуло в его груди.

Не говоря ни слова, он отдал ключ от зажигания перегонщику, и машина заработала, неуверенно тронулась задним ходом, будто еще не понимая, что случилось, куда ее ведут, и, сделав полукруг по полю, вдвинулась в ряд других машин, объединенная с ними единой судьбой.

«Вот и все, – с непонятным облегчением сказал он сам себе. – Ее продадут скоро...»

А она издали смотрела на него, удивленно и печально поблескивающими фарами, словно не желая прощаться, расставаться с ним, и он быстро вошел в контору, чтобы не видеть ее сейчас.

– ...Как мне жалко ее, – сказала жена. – Ты простился с ней? Попросил у нее прощения?

– Да, – солгал он, отлично помня, что не простился с машиной, не посидел в ней напоследок, не погладил по знакомой и гладкой коже металла.

– Оля так любила ее, так мыла ее, помнишь? Называла «хорошенький „Москвичиш-ка“»...

– Да, да, – повторил он.

Потом, не успокаиваясь, казня себя за то облегчение, какое испытал, отдавая ключ перегонщику, он представлял ее далеко от дома, на окраине Москвы, в зимней ночи, на ветру, ледящем ее металлическое тело. Там она была безвозвратно оставлена им на продажу, с расчетом, ради другой, новой, более красивой машины. И он думал, как влюблен был в нее много лет, как она верна была ему: весело сверкая на солнце окнами, катила по дорогам, красуясь, кокетничая со встречными машинами, и редко сердилась на него, когда был неосторожен, резок в обращении с ней, и по-родственному прощала все, почищенная, помытая, протертая им и десятилетней дочерью Олей.

Теперь она замерзала там, на ветру, на морозе – и не проходило ощущение совершённого предательства.

Идеал

Ссоры в молодых, и не только молодых, семьях часто возникают потому, что она, как ему кажется, не отвечает тому идеалу женщины и жены, который он хотел бы видеть в ней и который создал для себя. Он раздражается на то, что она недостаточно чутка, порой молчалива, замкнута, неаккуратно одета, не то сказала при гостях, не так воспитывает ребенка.

И он в состоянии неудовлетворения, всплыв по малозначительному поводу, не сдерживаясь, находит для нее самые обидные слова, словно мстя себе за собственную ошибку и мстя ей за оскорбленный идеал свой.

Его резкость обижает и злит ее, и она отвечает ему с той же нещадностью, с той же болью – и повторяющееся между ними отчуждение нередко убивает самое ценное – любовь.

Он и она не правы, считая себя обманутыми, но, обремененные усталостью, заботами, мало что делают для того, чтобы приблизить один другого к тому идеалу, который каждый лелеял в душе.

Ведь готовых идеалов на все случаи жизни нет.

Схимник

Был июльский день, золотые купола Печерского монастыря купались в небе. А над древними стенами, над монастырским садом плыл перезвон колоколов, торжественный, ликующий, как этот летний день, что, видимо, ощущали и молодые монахи на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они так ловко перебирали пальцами веревки, что казалось, с виртуозным умением управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным инструментом, как бы созданным самим Богом.

Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину монастырского сада, где стало просторно и солнечно, и открылась поляна, зажелтели ульи в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблоками ветвями. Здесь напоенный клевером воздух гудел слитным гулом: пчелы облепливали хлопотливой кишашей массой щели ульев, пролетали над кустами смородины, обдающей нас духом ягодной плоти.

И посреди этого цветника я заметил на краю поляны схимника в черной рясе, с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то белыми, смертными узорами. Схимник стоял, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми глазами на леток улья, где копошились, ползали, озабоченно сновали пчелы. И его лицо, истонченное до про-

зрачности, с потусторонними бескровными губами, выражало смиренное и печальное внимание. Он, схимник, вероятно второй раз постриженный в монахи накануне небытия, занятый ежечасным приготовлением к завтрашней смерти, наконец прощался с пчелиной суетой жизни, которая останется на земле, так же как этот благолепный день и колокольный звон обещающий ликование греховного ожидания, устроенное молодыми монахами, каким был когда-то и он, схимник.

Что было на душе его? Тоска прощания с земным? Рассказание?

В то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, ловил наше внимание – мое и моей жены, – и его красные глаза выражали отрешенность и еще более смиренную покорность судьбе. И показалось, что он, ссутуливаясь, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее глаза, ее белокурые волосы до плеч. Он, конечно, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в неземное царство, о его земной подготовленности. Он также знал о неумолимости срока людей еще молодых, еще полных желаний и сил, и следил за суетой пчел на летке улья, с незаметной усмешкой скорби святого наблюдая неумолимое движение колеса бытия.

Вдова

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум заглушал слова приветствий, и плохо слышно было, что говорили, ибо наступил момент, когда виновник торжества перестал быть центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.

Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в коридор. И здесь, на прохладной после зала мраморной лестнице неожиданно увидел сухощавую женскую фигуру всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до локтей. Особенно выделялась широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывшая ее сухонькое лицо со стеклянным взглядом. Не увидев меня, равномерно передвигая по мраморному перилу слабой кистью в креповой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах подобно грозному знаку среди отзвуков доносившегося сверху веселья.

Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные глаза ничего не выражали. Наверное, она была пьяна, потому что внизу покачнулась, приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного учено-

го, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял менее известный ученый, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт сегодня торжественно отмечал.

Я не видел ее там, наверху, где шумели речи, пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж, – и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в свое непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.

Потом я вообразил, как она войдет в опустевшую квартиру, бессильная, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолодыми губами о жестокости жизни.

Малярия

Меня начинало трясти к полудню. Я ощущал сквозь рубаху острый пожар солнца на спине, а тень под голубятней, дышавшая в этот час отдыхом, казалась неимоверно сырой – знобило при одной мысли о влажной земле, по которой ходили голуби, лениво подергивая шейками.

Мне нужно было согреться, я садился на деревянную скамейку на солнцепеке, чувствовал вонзающийся в мою голову, шею, плечи июльский жар. Жар не согревал тело, а давил, замутнял голову, соединяясь с другим, внутренним, жаром. Потом целый мир смещался, изменял обычный цвет, осязаемость – и все представлялось как через стекло: замоскворецкий дворик, могучие липы около забора, низкие красные крыши купеческих домиков, под солнечным потоком.

Приступами подташнивало, и я на шатких ногах брел домой, там мама встречала на пороге испуганным возгласом: «Горе ты мое!»

В эту несусветную жару замерзали руки, синели ногти, я пытался согреть кисти между колен, сжимаясь в комок на кровати, стучал зубами, укрытый с головой двумя одеялами, но меня бил озноб, я дрожал, всхлипывал, стонал, иссушаемый до кипения крови, мнилось, казняще пылающей печью.

Время от времени меня перекидывало на постели удушье, тут же выташнивало, выворачивало в подставленный мамой

тазик, и с набрякшей головой я кашлял, давился, выплевывал желчь, пугающую кровавой окраской. После было, горячо во рту, сознание мутилось, кто-то тенью возникал в белой пелене перед кроватью, говорил о температуре сорок, все летнее за окном уходило, уплывало за тридевять земель, и мимо чудесного веснушчатого, как сорочье яйцо, лика девочки проходили в морском заливе яхты под парусами, а я, сильный, небрежный, вел первый швертбот, сидя на корме, держа одной рукой румпель, другой грота-шкот; возле, на банках яхты, продутой насквозь ветром, сидели в садках голуби, и я должен был «подкинуть» их под чужую стаю на глазах знакомой девочки, без которой не мог жить...

Потом возникала погоня во вселенной – в звездной метели среди гудящего мрака нечто зверски оскаленное, имеющее злобную власть надо мной и той девочкой; эта власть неизвестной силы преследовала меня, окружала, швыряла протуберанцами зазубренных копий, они проносились в миллиметре от головы, обжигая волосы, кожу лба, они ослепляли, а два огненных копия торчали в моих ногах, мотались, тянули пудовыми гирями. И, немо крича, я падал с огромной высоты в узкое ущелье, на дне которого бурлила меж камней горная река; вокруг по склонам возвышались каменные стены древних замков с зубчатыми башнями, стрельчатыми бойницами, с подвесными мостами через рвы, и оттуда, из дворигов, грозно изготовились рыцарские доспехи, щиты, забрала – там стояли враждебные войска и

злорадно, ждали, когда я упаду и разобьюсь вдребезги о гранитные плиты соборной площади или буду нанизан на длинные иглы пик, выставленных железным лесом в небо, откуда падал я в свою смерть.

Я знал, что спасение мое – зацепиться за золотой крест, на купола собора, во что бы то ни стало задержать падение тела, выдернуть копыя из пробитых ног, освободиться от боли, жгущей огнем... («Кто же я был? Святой Себастьян?»)

Я схватился руками за металлическую перекладину креста, но зацепиться не смог – и, падая, с треском выворачивая крест, покатился с высоты вниз, скользя пятками по скату крутого купола, в крутящуюся пропасть начавшегося пожара, из лохматого неистовства которого торчали на кольях отрубленные пустоглазые человеческие головы.

Но в этом диком буйстве мучений и крови кто-то любил меня, и я любил кого-то с отрешенностью и безнадежностью. Она же то сидела, независимая, на перилах крыльца, болтая ногами в сандалиях, то стояла у забора под кустом акации и разгрызала стручок, глядя исподлобья неподступными глазами, а я везде искал ее, я хотел, чтобы она пожалела меня, познала мои страдания в борьбе с коварными врагами и потому пришла бы туда, где должна увидеть меня в последний раз, проститься, заплакать от любви...

Я хотел предсмертно лежать спиной на камнях, головой на ее коленях, чувствовать ее залитые слезами губы, видеть ее глаза. О, какое это несказанное наслаждение было умирать

на ее коленях и ощущать сокровенное дуновение шепчущего голоса: «Я люблю тебя...» И я тоже плакал от преданности этой девочки нашей любви (которой никогда не было) и в то же время краем воспаленного сознания понимал, что все происходит в бреду, это опять приступ...

Тогда я вскидывался на кровати – чудилось: она, вернувшись с портфельчиком из школы, расширив глаза, смотрела, заглядывала со двора в окно, и возможно слышала мои бредовые слова. На краткую минуту я различал окно, сбоку кровати, с тюлевой занавеской. Нет, никто не заглядывал в комнату («Где она? Где?»), а издали как-то разделенно доносились детские голоса, солнце стрелами пронизывало наискось листву дворовых лип – и не было ни ее колен, ни ее жалости.

И вновь я погружался в расплавленные красные пески Сахары, неохватимого пространства пустыни, лишённого времени, человеческого вчера и завтра. И безмерные пески, уходящие буграми в никуда, гнали меня за неизвестные разуму пределы, жгли пятки, осыпались под ногами, я утопал в их зыбучей трясине, не мог скрыться от своих преследователей. Затем сзади несколько человек хватали за плечи, выкручивали мне руки, грубо втискивали в железную клетку для зверей и везли по пустыни целым караваном верблюдов, на головах которых в такт шагам мотались пушистые кисточки, как у цирковых лошадей.

Потом люди в черной парандже вводили меня в восточ-

ный дворец, толкали кинжалами под лопатки, торопили подойти к золотому трону, покрытому яркоцветными коврами, на них возлежал всемогущий повелитель в шелковом халате, в чалме. Лицо у него имело вид таракана, усы шевелились, а маслянистые глаза смотрели вбок, где происходило что-то нечеловеческое, противоестественное. Там садистски казнили на ковре слабенькое худое тельце, очень знакомое мне, и, узнав ее, в гневе я бросался, безоружный, на помощь, подобно Дон-Кихоту. В ту же секунду пол разверзался под ногами, со скрежетом маховиков, образуя внизу электрический провал, я падал, летел туда с охолонувшим сердцем, видя на дне машину смерти, торчащую острейшими, направленными вверх пиками. И без всякой надежды на спасение, заранее чувствуя, как подрагивающие острия пронзят меня, я меркнувшим сознанием пытался представить тот момент, когда она после моей гибели придет в голубятню на заднем дворе и, думая обо мне, грустно возьмет в руки маленькую умницу, голубку с хохолком, и будет поить ее изо рта, как это делал я раньше, показывая ей своих голубей.

Почему в малярийном бреде мое мальчишеское сознание проходило через муки и любовь? И почему рисовало оно средневековые картины насилия, борьбы, страдания? Все это я не мог вычитать из книг, ибо хорошо помню, что узкий круг моего чтения (когда читать замоскворецкому голубятнику?) охватывал в ту пору один литературный жанр, напо-

добие «Красных дьяволят» или «Макара-следопыта».

Может быть, малярийный жар, высокая температура, раскрепощали во мне какие-то коды генов, что несли в себе отсветы памяти, осколки прошлых событий и вместе с тем напоминали о недавнем, в тысячу крат кровавой войне, которую я прошел от начала до конца.

Война затмила все, но девочка моих видений (она училась вместе со мной) явилась однажды из забытого детского кошмара, я отчетливо не увидел ее, а ощутил возле себя осенью сорок третьего года на неизвестной высоте (между Житомиром и Белой Церковью) после танковой атаки в окружении, не оставившей от нашей батареи ни одного орудия.

И снова мне представлялось, что я лежал на заднем дворе, на свалке кирпичей, а она держала мою голову на своих коленях.

Я услышал стон и с надеждой увидеть ее, открыл глаза... но рядом никого не было. Свистел ветер в травах, небо несло над высотой, кипело рваными тучами, будто задевало огруженными краями исковерканный щит орудия.

«Неужели она и задний двор приснились мне?» – подумал я, сознавая, что один лежу на высоте у разбитого орудия, на кромке снарядной ниши, и что в край секунды танковой атаки, когда раскаленный смерчем ударило в грудь и упала тьма, повторился незавершенный детский сон или малярийный бред. И поразило до судороги в горле: зачем, зачем я вспомнил о ней? И понял, что люблю ее, конопатую

девочку с заднего двора (а она, равнодушная ко мне, никогда не узнает, что там, в окружении, на развороченной снарядами высоте, после боя, я хотел умереть на ее коленях), я почувствовал, что теряю сознание, скатываясь в бездонность, с безнадежной мыслью увидеть ее плачущее склоненное лицо, как в той детской игре на свалке кирпичей...

В некий час

Неужели через несколько дней ему не суждено проснуться, увидеть раннее солнце над крышами, пойти утром в ванную, тщательно, долго бриться, привычно рассматривая лицо, или с наслаждением выпить рюмку водки перед обедом, или вечером подышать воздухом на бульваре, с зажженными фонарями? Да, он не сможет даже думать, что думает... Все одновременно оборвется, канет в ничто... Неужели, неужели исчезнут небо, воздух, шум улицы, гудки автомобилей, людские голоса, утренняя газета после завтрака, глаза жены, длинноногая и длиннорукая дочь, звонки телефонов? Что ж, постепенно прекратятся звонки – ведь с ним и умрет его энергия, угаснет действие имени, и он не нужен будет никому. Судьба пощадила его на войне. Он спокойно дожил до той поры, когда живые вытесняют мертвых полуравнодушной скорбью, излишним празднеством похорон, уважительной холодностью живых к мертвым, которых быстро перестают и любить и ненавидеть. Он сам не раз испытывал прощальный долг – потупить глаза в минуту молчания, встать, чувствуя неловкость и языческую старомодность ритуала.

В этом прощальном безмолвии кто-нибудь из живых счастливицев будет печально смотреть на помятые, засиженные брюки впереди стоящего соседа, думая о неряшливости его, а кто-нибудь украдкой скашивать потупленные глаза на

стройные ноги женщины, заметной седым пучком волос на затылке, который как бы не соответствовал этим прямым ногам, и думать о ее преданной связи с покойным, немислимо представляя их вместе. И, вероятно, появятся мысли его личной жизни, о его душевных слабостях, что знали близкие к семье покойного. Потом чей-то старчески скрипучий голос скажет формулу отвратительной мудрости: «Смерть свою причину найдет. Все на одной точке стоим». О, как покойный ненавидел при жизни эти пошлые мудрости бульварных философов!..

И, забираясь в предсмертные высоты, где не было никакого спасения, вспомнил первую женщину, оставшуюся в довоенной юности, но которую то ли в действительности, то ли в юном воображении любил с той непорочной чистотой и самоотречением, каких не испытывал позднее.

Но все-таки...

Наверное, где-то там есть свой список, и ежедневно некая рука с усталой небрежностью ставит крестик или галочку напротив какого-либо имени – и тот, кто носил это имя на земле, покидает ее в срок намеченный.

В выборе этом почасту нет благоразумного, логического порядка и нет верховной справедливости (так нам кажется), и мы говорим о неисповедимых путях, о високосном годе, прошедшем с косой по знакомым и близким нашим, по всем молодым людям, а слова «инфаркт» и «рак» стали уже эмоционально равнозначны понятиям «война» и «смерть».

Раз мой приятель, вернувшись из больницы и идя со мной вечером из ресторана сказал:

– Если зажечь над окнами всех смертельно больных всего мира красные лампочки, нас потрясла бы эта страшная иллюминация!

Но все-таки... все-таки есть ли там, в запредельных списках, норма справедливости, не перепутываются ли эти списки кем-то с мстительным упорством не опахивает ли казнящее крыло, обдавая вне очереди обреченные имена запахом жженой горечи?

Или, может быть, истина в сердцевине закона кажущегося равновесия?

Пыль

Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался сквозь потную гимнастерку, – духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя тополя, вставала серая длинная стена – вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и переваливалась через заборы, не оседая. Курсанты, загорелые, пропыленные (все время хрустело на зубах), – готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно выбегали в умывальную, глотали, пахнущую жестью воду из кранов. В классе же помкомвзвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи. Пятна пота выступили и под мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов казались отупело-сонными.

И это ощущение зноя и испытал снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую женщину, которая стояла возле проходной училища, разговаривала с оживленным офицером в новом кителе, улыбалась ему и загораживала его раскрытым зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей.

Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я уже не видел его в живых.

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли

она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..

Бессилие

Он шел по Невскому проспекту в одиннадцатом часу утра.

Он любил воскресный Невский и шурился от избытка хорошего чувства, что испытывал всегда погожим утром.

Потом он обратил внимание: навстречу ему неторопливой походкой шел небольшого роста молодой человек в клетчатом пиджаке, покатые плечи раскачивались, твердый, взгляд устремлен вперед. Молодой человек, казалось, никого не видел и видел всех сразу, гуляющих по Невскому, и одной лишь краткой усмешкой в глазах выделял из прохожих красивых женщин.

Они двигались навстречу, эти два молодых человека, а когда поравнялись, невысокий, в клетчатом пиджаке, не поворачивая головы, не меняя выражения глаз, незаметным толчком плеча ударил в плечо другого, и тот, едва не падая от неожиданного удара, ощутил чужие мускулы, столь натренированные, в самонадеянности, что, пораженный грубостью, вспыхнув мгновенным гневом, выговорил, готовый к мщению:

– Извинения надо просить, в конце концов!

А парень в клетчатом пиджаке уходил невозмутимо, по-прежнему покачивая плечами, будто ничего не произошло: облик невозмутимо гуляющего по проспекту человека делал его невинным, и можно было представить, как он равнодуш-

но поднял бы брови при виде возмущения его действием как сказал бы бесцветным голосом: «Не понимаю, что вам от меня нужно?» – и тут же нанес бы этим вторичный удар исподтишка, играя роль жертвы, вынужденной защищаться.

Тот человек, которого задели плечом, был не робкого десятка, тоже обладал физической силой, но что-то остановило его. Он, потирая ушибленное место, оглядывался на удаляющуюся квадратную спину, обтянутую спортивным пиджаком, и ненавидел и эту спину, и себя, и собственное унижительное положение, которому все-таки требовалось найти оправдание.

«За что он меня? моей прическе? Доказал, что сильнее меня? Почему я оробел перед его силой?»

В состоянии неудовлетворенного возмездия он не подумал, что оба они, победивший и побежденный, в коротком уличном бою первобытных самолюбий, предстали вдруг мелкими особями мужского рода в этом солнечном благолепии июльского утра, летним взглядом встречающих женщин...

Красота

Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?

И я представил, что земля наша непоправимо осиротела. Вообразите: на ней более нет человека глухая безлюдность пустота шуршит в каменных коридорах городов, не нарушается ни голосом, ни смехом, ни криком отчаяния – и она сразу бы потеряла высочайший смысл быть кораблем, юдолюю жизни вмиг утратилась бы ее красота. Ибо нет человека – и красота не может отразиться в нем, и быть оцененной им. Для кого? Для чего она?

Красота не может познать самое себя, как это может сделать изощренная мысль, утонченный разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, так же, как, в сущности, и разум для разума, – в этом поедаящем самоуглублении нет свободной игры, притяжения и отталкивания, поэтому оно обречено на гибель.

Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель, – это ощущение жизни, любви, надежды, вера в бессмертие, прекрасного что вызывает у нас желание жить.

Да, красота связана с жизнью, жизнь – с любовью, любовь – с человеком. Если прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота.

Книга, написанная на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонии, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги – не крик в пространство, передача мыслей, переселение чувств.

Зеркало

Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от шагов в комнате, от ее протяжного, голоса:

– Как я рада видеть тебя!..

Она, нагая, стояла перед зеркалом, внимательно вглядываясь в свои глаза, улыбалась, хмурилась, трогала коротко подстриженные волосы, гладила кончиками пальцев маленькую грудь, следя за этими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон как страшно, и закинула руки, охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек...

С каким-то непонятным мне выражением боли она закрыла глаза, приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, и я услышал ее шепот:

– Неужели так? Неужели?.. Как страшно...

Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то, преобразенного в зеркальном отражении, и вся доверялась, его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, с ее юной чистотой и с чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.

И мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые женской незащищенностью, этой любовной игры, еще не

испытанной, ожидаемой ею. В невинной отрешенности она хотела увидеть, представить себя, и я, сгорая со стыда, испытывал к ней неприязнь, накрылся с головой одеялом, пугающей силой ее наготы, ее изумленным вскрикивающим шепотом:

– Ты не спишь? Ты разве не спишь?

С моей головы резко сдернули одеяло. И, увидев ее разгневанные глаза, я понял, что она услышала меня, и, молчал, готовый умереть в позоре.

– Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? – спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая непрощающей жутью глаз мне в зрачки. – Ты видел меня в зеркале, противный? – повторила она шепотом и прищурилась, задрожала ресницами. – Так вот слушай, негодяй, – тебе все приснилось, все приснилось! Все, все приснилось!..

Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, выбежала в другую комнату.

Что ж это огромное старинное трюмо, стоявшее между двух окон, имевшее, поэтому особую серебристую глубину, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало. Оно несколько раз соприкасалось моей душе в детстве с чужой какой-то мистической волей властно подчиняя подсознательному любопытству, чему я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, почему-то обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того

как я невзначай увидел перед зеркалом свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, было уже неловко видеть мать, тщательно причесывающуюся по утрам, словно родное до каждой черточки лицо могло измениться в зеркале.

Однако отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска друг отца, с которым в молодости они устанавливали советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнувших переполненным вагоном, захолустными вокзалами, и внес он в квартиру едкий сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по лицу матери.

Закрыв дверь в смежную комнату, они проговорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне показалось, неумело, как-то и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя имя отца: «Митя, Митя, пойми...» – и помню непрерываемый возглас отца в тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания...»

Уже на рассвете мать вошла в мою комнату усталая, медлительная и принялась стелить гостю на диване, то и дело оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.

Я не в силах был заснуть, чувствуя, что в соседней комнате происходит тревожное, опасное, связанное с нашей семьей,

с отцом и матерью, похожее на запоздалое предупреждение о беде, которую привез сегодня отцовский товарищ.

Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, прерывисто мычал, как под пыткой. Друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, неуклюже, по-бычьему, из угла в угол метался по комнате, натываясь на стулья, тер двумя руками крупное хмельное лицо, чудилось – хотел закричать, но только сильные звуки вырывались из его горла. – Гос-поди, прости меня!.. – вдруг выговорил он так судорожно, что я зажмурился от его вскрика мольбы. – Я не хотел! – повторил он, останавливаясь перед трюмо, огромнотелый, в исподней рубахе и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое лицо, обмоченное слезами. – Я не виноват... Я не хотел... Митя, не хотел!..

Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, стонал с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было какое-то противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытки изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упивание сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, оскаливаясь, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, ненавистно что-то шепча зеркалу.

Потом я увидел, как он рухнул на колени и глазами, отре-

каясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:

– Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня... или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!..

И, зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, бормоча в подушку неразборчивые слова, потом разом затих, засопел, бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.

Я не видел, как утром он уехал, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая недоговоренных слов ночью.

Детским чутьем я догадывался, что неожиданный гость предал старую дружбу отца, привез с собой непростительную вину, заметно изменившую покой в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, я не раз ночью просыпался от негромкого разговора в другой комнате, видел в раскрытую дверь фигуру отца и фигуру матери у окна, они всматривались из-за отодвинутой занавески в сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля и выходил, направляясь к нашему парадному, гость отца в дверь никто не звонил. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (заревое вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой

комнате, и успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.

Я ненавидел это зеркало, которое хранило слишком много, когда я мальчишка, рассматривал в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть я, а смущенную улыбку, прыщики на лбу, длинную шею...

Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенной, сама естественность, – и мальчишеское разочаровывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по обретению мужества. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из второй жизни зеркала?

Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает силой правды и строгого напоминания о неизбежной конечности желаний.

Когда утром вы замечаете на лице своего двойника бледность утомления грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее звонят дальние колокола?

«Как мне жаль тебя...»

Они лежали обнявшись, и она, потираясь кончиком носа о его нос, говорила шепотом:

– Как мне жаль тебя, как жаль!..

Он полувиновато улыбнулся, но ему неприятно было слышать эти слова, они унижали его любовь к ней, единственной женщине, его жене, с которой душа в душу прожил много лет.

Никогда раньше она не произносила этих слов о жалости, и он, не отвечая ей, подумал, что все счастливое, прежнее завершилось в этот миг. Она, вероятно, разлюбила его, силась заменить любовь жалостью, и вот оно, пугающее старческое... Неужто наступила пора в их жизни, разумная, предзимняя, с зябкостью ветерка?

Она сказала о своей жалости после того, как ночью, целуя, прижимаясь к нему, говорила другое, что на самом деле всегда сводило его с ума, и теперь он почувствовал с уколывшей обидой нечто фальшивое в прошедшей ночи и выявленное этим утром, ее разрушительной фразой.

Он повернул голову к окну, увидел пронизанные ранним солнцем янтарные складки не задернутой полностью шторы, нагромождения городских крыш – и смотрел, боясь повернуться, встретить ее взгляд.

– Почему... тебе жаль меня? – не отводя глаз от окна, вы-

нужденно улыбаясь, спросил он и еле справился с сердцебиением, мешавшим ему сейчас говорить. Она промолчала. И он повторил:

– Почему?

– Ты не представляешь, как мне жаль тебя, – заговорила она шепотом. – Разве ты не думаешь, что уже скоро нам придется расстаться друг с другом... и со всем расстаться?

Он понял и, скользнув сознанием мимо неизбежного, неумолимого, ждавшего их впереди, с облегчением, похожим на радостное безумие (нет, она не лгала ему, и оставался запас надежды на неопределенный срок любви), сказал осторожно:

– Ты еще любишь меня?

– Наверно, это больше чем «любишь». Я молю судьбу, чтобы мне не пережить тебя.

– И я думаю о том же, – сказал он хрипло, думая, однако, о том, чтобы она не погасила тлеющий огонек многолетнего костра между ними, напоминавший им обоим молодость, веселое озорство, ненасытность любви и ожидание еще непрожитой жизни.

– Наверное, тебе приснилось что-нибудь грустное? – спросил он, успокаивая ее и себя.

Она выпростала руку из-под подушки, погладила его по голове, как ребенка, всматриваясь в его лицо, готовыми плакать и смеяться глазами.

Свет в окне

Январская метелица, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике, загороженный занавеской огонек настольной лампы – и я представлял натопленную, комнату, стеллажи, заставленные книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был – ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем неза-

мерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, бессонное окно, на ту же, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой занавески и его знакомое в моем воображении лицо, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу... Мне хотелось сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру – примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственных его друзей.

Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.

Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна, майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему, сказав зачем-то «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), почувствовал я какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно неприятным, и показалось – там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С беспокойством я опять дошел до угла, выкурил две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал себе, что сейчас вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, – все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство отсутствующими глазами.

Тотчас она заметила меня, рывком задернула занавеску – и шершавый холодок вполз в мою душу. И дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображае-

мый друг, тот седенький старичок с шаркающей походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне, как близкий друг.

Вечером

Шел по улице в сторону площади Старого собора, мимо костела, где была служба. Там горели свечи, звучала органная музыка, вызывая неземное очищение, уплывая в недостижимое лоно умиротворения, что должно когда-то стать сущностью человеческого бытия.

Я слушал орган, думал о предсмертных словах Декарта и ходил по площади вокруг костела.

Потом какая-то компания подгулявших молодых людей выскочила из ближнего ресторанчика; один, пьяно взвизгивая, вдруг выхватил металлическую урну из гнезда на столбе и швырнул ее в своих приятелей. Урна покатилась по брусчатке, рассыпая смятые коробки от сигарет, клочки газеты, огрызки яблок. Двое парней кинулись к пьяному, а из открытого окна ресторана высунулась женская фигура, крикнула что-то зло ругаясь.

Двое парней схватили пьяного под руки и повели его, уговаривая:

– Weg, weg!...¹

Прохожие, стоя на автобусной остановке, смотрели на них с боязнью и любопытством. Пьяному было лет семнадцать. Его вели, у него подкашивались ноги, запрокидывалась голова, он плевался.

¹ Прочь, прочь!., (нем.)

Когда, сделав круг по площади, я возвращался к костелу, три девушки с зонтиками, смеясь, входили в притемненный подъезд; одна, закрывая и стряхивая зонтик перед парадным, повернула лицо, посмотрела на меня насмешливо-вопросительным взглядом.

Наверное, ее удивило то, чего я сам не мог видеть на своем лице, подходя к костелу, наполненному огоньками свечей и безгрешным великолепием, органа.

Апрельский день

Ласковый, апрельский день шестьдесят третьего года, огромная, квартира Яна, его кабинет с коллекцией фарфора XVII века, с ценнейшим набором курительных трубок времен Наполеона, старинными часами (были даже личные часы Лихтенштейна), дорогими картинами голландских мастеров. Везде бросалась в глаза немецкая опрятность, переизбыток достатка, утонченный вкус, и сам хозяин квартиры был приветлив, доволен собой, жизнью, женой – она, тоже молодая, недавно родила ему дочь, которую называли Камиллой в честь героини нового и шумного его фильма.

Мы сидели на открытой террасе с видом на Прагу, на Градчаны, сидели, пригретые весной, верховым ветерком, и было настроение свободы, беспечности, какое бывает в душном воздухе апреля. Ян с удовольствием делал коктейли, беря разнообразные бутылки со столика на колесиках, бросал в напиток ломтики лимона, мешал соломинками в бокалах, то и дело падал на спинку кресла со смехом, слушая мой рассказ о Житомире, который в сорок третьем году мы взяли с ходу после Киева и тут же возле раскаленных пушек «обмыли» победу по причине обилия шампанского, оставленного немцами на продуктовых складах. Ян смеялся и восклицал:

– То есть фантастичне!

Так и остался в моей памяти этот жизненосный, по-весеннему обещающий удачу день, и солнце в большой уютной квартире, и пахучий ветерок на высоте террасы, и городская даль Праги и главное – ощущение здоровья, успеха, легкости жить в этом послевоенном мире.

И когда в семидесятых годах, я приезжаю в Прагу, мне не хочется верить, что не будет уже того молодого весеннего дня, и той веселости, что не встречу с Яном, не буду сидеть на открытой террасе его квартиры – не верю, что его нет в живых, и, не веря, каждый раз по приезде с мистической надеждой думаю в гостинице: может быть, вот сейчас раздастся телефонный звонок и я услышу голос Яна, его смех из того незабытого дня нашей молодости?

Осенью

Поздним октябрьским вечером, наполненным ветром, близких холодов, я остановился перед дачей совершенно один под блещущими зигзагами созвездий, где-то плыла отдаленная музыка, пел женский голос, как показалось, об ушедших днях, об утраченном лете: была включена радиола, видимо, в санатории.

Долго смотрел в чашу деревьев, на знакомый в листьях забор, словно все это, и забор и деревья, и музыка – перенеслось на десятки лет назад, в пору, ушедшую, полузабытую, которой как бы и не было. Где это было? Когда?

Да, ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру, и я шел мимо этих заборов на окраине, семнадцатилетний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое война, но мечтающий о подвигах так, как может мечтать мальчик в семнадцать лет, с верой в бессмертие, славу, в восхищенные от любви глаза той, которая терпеливо ждала меня вечерами в маленьком актюбинском дворе.

Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в нескончаемость своей юности, и все было юным: и она, и я, и фонари на ветру, и окраина, и осень...

Неужели это были лучшие дни моей жизни?

Тост

– Я хотел сказать, дорогие друзья...

– Петя, у тебя нет никаких предложений гостям?

– Я люблю природу. Мы ходим по лесу с женой и целуем каждое дерево... каждую березку... Пусть осень, опадают листья, но все равно будет весна. И будет много весен. Надо охранять свое поле... поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье уезжаю из каменного города, хожу по лесам, и я здоров как слон...

– Постучи о дерево!

– ...Здоров как слон... Я хочу, чтобы люди, все люди были здоровы, красивы, а не напоминали, простите, гусениц...

– Почему вы указываете рюмкой в мою сторону?

– Простите, случайно.

– Петя, у тебя нет никаких других замечаний и советов гостям?

– ... Мы бегаем с женой каждое утро пять километров. Она задыхается, она кричит: «Я не могу!» – а я ей: «Ищи третью ноздрю».

– Это что же такое – второе дыхание?

– Третье. Потом звоню ей на работу: «Зинка, ну как?» – Она: «Прекрасно себя чувствую». Я делаю ей массаж. Каждое утро. Она раньше потела...

– О чем ты, Петя? Перестань, пожалуйста.

– Она потела...

– Ну, начинаются подробности.

– Нет, вы не смейтесь, я должен досказать...

– Петя, перестань, ты немножко пьян, ты говоришь лишнее, Бог знает что!

– ...Космонавты увидели Землю с высоты и поняли... Красота-то какая – Земля...

– Петя, Петя, сядь, пожалуйста! Ты льешь из рюмки себе на костюм!

– Я сяду, но звездное небо и наша Земля – это красота в красоте, эт-то...

– А от этой настойки на дубовой коре не дашь дуба?

– Завтра утром проснетесь и спросите себя: а пили ли? Голова светлая, настроение молодецкое... Я сам делаю эту настойку. Я с женой каждую травку!.. Вы перебили меня, я хотел сказать, что мы должны поклоняться земле...

– Форточку! Окно откройте! Дышать нечем. Сандуны!

– ...Звездное небо... Что такое счастье? Счастье – это ожидание счастья. Кто так сказал, не помню, но очень верно и жизненно сказано. Вы когда-нибудь видели ночное небо в августе? Зина, не дергай меня за рукав, они должны понять, что такое счастье жить...

– Трое англичан в смокингах сидят в роскошном ресторане в Гранд-отеле...

– Замолчите! Это неприличный анекдот!

– Нет, вполне приличный. Я в это время входит красивая

женщина...

– Неприличный анекдот!

– А я говорю, совсем приличный! Женщина подходит к ним, садится за столик, берет из вазы яблоко...

– ...Вы опять перебили меня. Я хочу вам всем сказать, что ночное небо в августе – да, да, можно заплакать от счастья его видеть... Зина, не надо дергать... Вы слышали, как падают ночью созревшие яблоки в саду? Дайте, дайте, договорить!..

Звезда и Земля

Я проснулся от неистового бега, грохота колес, от скрипа полок, от дребезжания полуоткрытой двери купе – над головой ходили струйки сквозняков.

В коридоре и купе было темно: я угадывал в потемках квадрат окна, за которым все было непроницаемо, и невозможно было понять, степь или леса шли в этой непостижимой, как мрак, ночи.

Потом в заоконной мгле вспыхнула огнем, замерцала одинокая звезда.

Поезд по-прежнему мчался, не сбавляя набранной скорости, затерянный в темных пространствах, без огней, невидимый с высоты этой звезды, горевшей среди космических пустынь, отъединенных от земли многомиллионными расстояниями.

В недостигаемости звезда плыла рядом с вагоном, косматосшевелила щупальцами лучей во мраке мироздания, проникающая сквозь его холод, и я неотрывно смотрел на нее с чувством неразгаданности каких-то существующих вне разума законов, которые для чего-то уплотняли вечность в миг и миг растягивали в вечность. «Значит, вечность – это жизнь, миг – это разрушение?..»

Все было беззащитно перед этими законами: жизнь, любовь, искусство, сама Земля, этот обжитой уютный островок

в угрожающем океане неизвестности. Какое одиночество и какую опасность должна испытывать она, зная свою обреченность и свой конец в н-й день, уже записанный в неизвестной главе мирового закона. Зачем, во имя чего должны сойтись, остановиться и, конечно, вновь начать движение стрелки вселенских часов? Может быть, в роковой несправедливости лежит закон строгой справедливости? Но опять же во имя чего?

Видимо, ответы на это записаны в ту книгу вселенского обновления, которую никому и никогда не суждено прочитать. Как и человеку невозможно перехитрить, обмануть, обойти собственную судьбу, так невозможно задержать движение мирового времени, ускользнуть от него, перевести назад стрелки часов с самоуверенной надеждой на то, что так продлится дыхание жизни.

И я представил нашу Землю, какой она может видеться с высоты этой осенней звезды, маленькую, голубоватую пылинку, этот воздушный кораблик, мчащийся сквозь толщи холода, звездного света, метеоритные туманы, представил его хрупкость, его слабость, ограниченные запасы воды и продовольствия – и ужаснулся при мысли о бессилии его перед вселенной.

Если бы каждый из команды на этом кораблике осознал, что впереди смертельный риф и в столкновении с ним рассыплется в ничто неповторимая его плоть, состоящая из лесов, рек, океанов, дождей, закатов, зелени травы, красивой-

ших городов, соборов, машин, книг, полотен живописцев, все то, что создано гениями человеческой мысли и человеческими руками, если бы каждый хоть на минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы корабль с борта на борт, не пробивали бы дыры в его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами с одержимостью самоубийц надутые паруса, забрызгивая их собственной кровью.

Неужели никогда люди не поймут, что Земля должна быть их светлым белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен?

Но стоит ли думать об этом? Ведь человек редко задумывается о своей смерти, а задумываясь, успокаивает себя тем, что с ним это случится когда-нибудь потом, потом...

«Потом» – форма самозащиты, но в этом «потом» есть и оттенок необъяснимой надежды: а может быть, и не случится именно со мной? Мысленно отодвигая смерть, люди порой утрачивают главное – смысл единоразовости жизни, и тут наступает отчуждение Земли и человека. Тогда наша крошечная планета становится лишь средством для достижения временных удобств и удовольствий, перерастающих в отвратительную патологию, подобную насилию детей над матерью.

Да, человек не только сотрясает, терзает и ранит плоть Земли разрывами снарядов и многотонных бомб с той поры, как начались войны, но он превращает ее в мусорный ящик,

в грязную свалку использованных и уже ненужных предметов, в кладбище машин, транзисторов, бутылок, консервных банок. Человек душит, отравляет Землю химическими отбросами, как будто в алчном обогащении торопится убить и ее и себя.

Земля – это живое тело со своим ритмом, дыханием, пульсом кровообращения, и естественный ток крови в ней остановить смертельно. Несомненно, люди понимают, вернее, чувствуют надвигающуюся опасность, но в то же время уповают на туманное «потом», в котором может ничего и не случиться с прекраснейшим из миров.

Однако все имеет свои начала и свои концы.

Синий свет одинокой звезды доходил до меня из высот, не согревая сентябрьскую непроглядность ночи лапами безжизненных лучей, и я почему-то вспомнил, что подчас достигает нас через космические пространства запоздалый свет уже погасших звезд, как бы в оправдание перед вселенной за свою гибель.

«Пока не поздно, – думал я, поеживаясь от сквозняков в купе, от тоскливо-химического горения бесприютной звезды, которая теперь казалась мне умершей, но когда-то веселой и цветущей планетой. – Надо что-то делать, пока не поздно!...»

Поезд, замедляя ход, все размереннее, успокоительнее постукивал на стрелках, донесся сквозь дребезжание купейной двери, поскрипывание полок предупреждающий кого-то в

ночи свисток локомотива. Затем мелькнули рассыпанные цепочкой огни, внезапно, ярко брызнул в вагон близкий фонарь над будочкой стрелочника, и начали надвигаться неяркие электрические лампочки закрытых пакгаузов.

Поезд сбавлял и сбавлял скорость – и через минуту на встречу поплыли над платформой огромные окна большого вокзала с безлюдными залами – и по купе задвигались полосы электричества, признаки человеческого тепла.

Я оделся, вышел из вагона. Уже на перроне невольно посмотрел в небо – звезды не было. За вокзалом шумели тополя, на путях шипел пар маневрового паровозика. Заспанная проводница, сладко позевывая, игриво сказала мне: ежели в ресторан я собрался середь ночи, то он закрыт до утра.

Услышав звук человеческого голоса, увидев лицо молодой женщины, я вдохнул овеванный поездами знакомый запах железной дороги, и, шагая по свету вокзальных окон на платформе, думал, усмехаясь: «Потом, потом?..»

И странно – под властью защитительного отдаления мне стало легче.

Отчаяние

Мой друг инженер был свидетелем невозможной сцены – мальчик во дворе поймал за гаражом голубя и ножницами отрезал ему лапки. Голубь бился о землю, пытаясь взлететь, бился головой, крыльями, всем телом, оставляя ниточку крови на асфальте.

Мальчик наблюдал за птицей исподлобья, очень спокойно, внимательно, как человек, проводивший серьезный эксперимент. Инженер бросился к нему, вырвал из его рук ножницы, проговорил с непониманием и гневом:

– Что ты наделал? За что же ты голубя?..

И мальчик ответил испуганно:

– Он не может летать без ног.

– Где твои отец и мать? А ну, покажи, где ты живешь?..

Он крепко схватил мальчика за плечо, и тот, ссутулясь, подрагивая губами, готовый уже заплакать, повел его к дому. В квартире был один отец, в застиранной пижаме, одутловатый, плохо выбритый, скрипнул протезом, нетвердо подымаясь из-за стола на кухне. Он выслушал инженера и ударил кулаком по столу.

– Чего ты пришел? – крикнул он со злостью нетрезвого человека. – Он у тебя, что ли, ноги отрезал?

Диалог на скамейке в парке

– Вы были замужем?

– Была.

– И давно? То есть... вы еще очень молоды.

– О, у меня уже сын пяти лет. Мы разошлись.

– Значит, вы его не любили?

– Если бы не любила! Но лучше некрасивая правда, чем красивая ложь. Я простила бы его, если бы он рассказал все. А он говорил неправду. Он объяснял, что ужасное случилось в госпитале, что она врач, и непохожа на меня, как небо на землю, а он любит одну меня. Я заставила его повернуться спиной и отвечать на вопросы. Я спрашивала, он отвечал. Самое ужасное было то, что он все-таки лгал, лгал. Потом он хотел взять сына... Он каждый год приезжает сюда, посмотреть на сына...

– Он приезжает посмотреть не только на сына, поверьте мне!

– У меня все перегорело, остались одни уголечки.

Диалог в очереди

– Очень уж безобразно на этих станциях обслуживания – тоже очереди, полное шахер-махерство! Раз, представьте, приехала на одну станцию – у меня было просто невыносимо жуткое положение: полетел в моем «Москвиче» подшипник. «Умоляю вас, – говорю слесарю или механику, как их там – в общем, молодой парень, а глаза подозрительно красные. – Мне необходимо заменить...» – «Нету». – «Сделайте ради Бога что-нибудь, ездить по Москве без подшипника – представляете, что это такое? Я хорошо заплачу!» Тогда он отвечает: «Ладно, покумекаю». Прихожу через два часа. Волнуюсь, знаете, как на приеме у зубного врача. «Как?» – спрашиваю. «Будете ездить, – говорит, – сделал профилактику, заменил подшипник, все как полагается». Я чуть не заплакала от радости. «Где же вы достали его, милый?» – «Ваш вон у той машины, – говорит и улыбается, – а подшипник той машины у вас». Нет, вы представляете, какое же это безобразие! Так и езжу до сих пор с чужим подшипником! Ужас! Когда это кончится? Какие надо иметь нервы? Так жить просто невозможно!

– Дак ить как же нам, матушка, долго жить? Нервинный человек пошел, деловой. Раньше вон мебель стояла крепкая, деревянная, сто лет – и нет ей износу. А теперь что – занавески эти модные выгорают, каждый год меняй. Диван, мол,

старый, царя гороха сродственник, дети-то говорят, – и шась его на свалку! Новый покупают. Сервант, вишь ты, у соседки, ну прямо завистью душу рвет. Покупай – не хуже, чем у людей. Деньги-то от чего отрываются? Опять же от еды. А пенсионеры-то, пенсионеры!.. Уйдет, матушка, на пенсию – габардиновое пальто шьет. Сто лет жить, что ли? Детям оставлять – мода пройдет. А то – часы на руку. Это что же, а? Часы... Я часы никогда не носила – рука у меня рабочая, некрасивая... Откуда людям-то здоровье иметь!

Степь

– Степь? Это закаты, рассветы, тишина без конца и края... А полынь! Вы когда-нибудь вдыхали запах полыни? А летние или осенние ночи с миллионами километров звезд над головой! А на зорьке, ежели еще по древнему обычаю верхом, когда от трав парным молоком пахнет, когда дорога звенит под копытами вашего дружка-коня, тогда лучшего ничего в мире нет, это уж запредельное чувство! А ветер в лицо, а тюльпаны-красавцы охорашиваются перед восходом: умылись, и росу стряхивают, выпрямляются и кивают, и улыбаются вам и зорьке. Вы, кажется, не верите? А вы поверьте. Я прожил в степи половину жизни.

– А я помню другую степь – мокрую, неудобную...

– Она такой не бывает, простите...

– Помню еще: в степи от лунного света стояли сумерки. Мне было скучно.

– Скучно? Простите. Я, видимо, не понял – о чем вы?..

Самый приятный запах

– Что вы говорите, голубушка? Какой там еще запах сирени? Где вы чувствуете свежесть и аромат, скажите, пожалуйста? Не испытываю ничего приятного от этого парфюмерного благоухания. Сантименты одни!..

– Почему же?

– Запах пыли из-под колес машины уезжающего начальства – вот самый приятный запах! Какое наслаждение вдыхать его! Не-ет, вам это не знакомо!..

Разговорчивый

– Свободно такси? Только счетчик, счетчик, молодой человек, в полном – как у вас – порядочке? Знаете ли, понимаете ли, ха-ха!.. Н-да, морозец! Черт его съешь, так морду и общипал, пока я вас дожидался. Поехали, что вы меня разглядываете? Мы с вами что – вместе водку пили? Поехали, поехали! Только без жульничества, чтоб счетчик... а то знаем, ха-ха!.. Люблю я вас, таксистов, но жулики вы все, обгориваете пассажиров!

– То есть как жулики?

– Знаем, знаем, вам говоришь: до площади Ногина, а вы норовите на Неглинную завезти: и, мол, ошибочка, и давай снова кругаля, бараночку крутить, счетчиком пощелкивать. Грабежом занимаетесь, ха-ха! Форменным образом.

– Вылезайте, гражданин, я пьяных не вожу!

– Я абсолютно трезв! Но я опытный человек, знаете ли, понимаете ли, уважаемый господин водитель, и меня на мякине не проведешь. Я жаловаться буду, ха-ха! Я вашу фамилию запишу! Счетчик, как у вас счетчик? Гирька там внутри не привешена, не тянет? А то, может, в два раза такса у вас набегает? А? Как? Я вас, таксистов, насквозь вижу! Того и гляди без руки в карман нахально залезете! А деньги как достаются? Потом, потом! Вы за меня не волнуйтесь! Знаете ли, понимаете ли, я на счетчик гляжу – меня не обманешь!

«Как я бросил курить...»

– Курил я только «Прибой», после войны папиросы такие были. Утром в воскресенье прошу у жены червонец на папиросы. А в Одессе «Прибой» – исключительный дефицит, штаны запросто прокурить можно, потому абсолютно с рук покупай... Ищу. «Прибоя» нет. Я иду на Вознесенскую, там инвалид торгует. У него тоже нет. Даже зло взяло! Захожу в пивную, и что-то меня ударило: брошу курить! «Ваня, – говорю, – налей сто граммов и кружку пива, курить бросаю»... Вечером уже прихожу к жене и говорю: «Пропил я деньги». А она вроде и не удивилась моему положению: «Я так и знала, когда ты уходил, у тебя такое было лицо». Тут я от непонимания этого сел к столу и махру закурил. Да так, что хоть колун вешай!..

«Зачем я так рано родился!»

– Это верно, женщины в наших краях очень красивые. Сами понимаете – юг, солнце, порода чувствуется, и живут в чистоте.

До меня был тут директор совхоза,ходец по овинам несравненный, такие сейчас редко попадаются, красавец мужик, усы, кавказская папаха, а взгляд ястребиный, быстрый. Увидит какую-нибудь и аж побледнеет, порозовеет, глаза хищными делаются, потом вроде туманом подергиваются, так и обволакивают, так и опутывают какую-нибудь крепко-ногую.

Однажды, когда уже на пенсии был, зашел он вечерком на танцы, в клуб наш, посмотреть по-стариковски на современную молодежь. Сел в углу с секретарем сельсовета, дружком своим, закурил, кряхтит, смотрит, ус покручивает. А девчата-то у нас видели какие – походка, как у королев, сами статные, юбочки коротенькие, глаза у всех, как вода озерная, с ума, поневоле сойти можно...

Смотрел он, смотрел, да вдруг как заплачет навзрыд. Секретарь сельсовета очень удивился, даже рот приоткрыл и – к нему: «Ты что, Степаныч? Причина какая?» А тот прямо-таки рыдает, ровно горе какое случилось. «Зачем я так рано родился? – говорит. – Девки-то какие! Яблоки, яблоки! Все бы эти яблоки на вкус попробовал! Зачем так рано я родился

ся!»

После войны мужчин здесь не было, он хозяйство подымал, энергии мужик был необыкновенной и при всем этом ни одну мимо себя одинокую без внимания не пропускал, если обстоятельства позволяли. Ох, орел был, да и женщины его любили, ох, как любили!..

Неравная доля

- Ты будешь хороший, да? Не будешь меня обижать? А то знаешь, как мне ее жалко!
- Кого?
- Себя.
- Я люблю тебя, моя женщина.
- И ты все время будешь меня любить? Если со мной что-нибудь случится, ты будешь меня помнить?
- С тобой ничего не случится.
- А если?
- Всю жизнь. Но с тобой ничего не случится.
- Знаешь, в любви тоже несправедливость. Она не поровну распределяет долю. В ней нет равных долей.
- Не понимаю.
- Мне дана большая доля, тебе меньшая. Ты меньше меня любишь.
- Экая арифметика странная!
- Нет-нет, вот что страшно – надоест друг другу. Тебе смешно, а я часто думаю об этом. Если я тебе надоем, ты сразу уходи, не говори ни слова.

Лунный свет

В часы бессонницы пришла странная фраза:

«Лунный свет омывает не каждого».

Почему не каждого? Почему лунный свет? Эта фраза не уходила из сознания целую ночь и была наполнена значительностью непостижимого в своей глубине подтекста, и я был окутан ее секретом, обещавшим нечто, райское, как женская нежность, потому что смысл фразы все-таки был связан с женщиной.

Утром фраза показалась мне бессмысленной, но потом я записал ее – и вдруг огоньком прошел в душе ответ ночного чувства вместе с каким-то сквознячком любви, какой не раз испытывал в юности. И я подумал, что сейчас открыл весь подтекст этой фразы, исполненной скорби к тем многим на земле, кого не омыло лунное сияние.

Нас было много

...Сразу похолодало, поднялся ветер, снег шуршал в чехах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недосягаемой, как прошлое, рваная полоса заката, но и ее, душила темнота, заволакивало дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд возле машин, орудий, лошадей, и казалось – там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, однако удаляясь и удаляясь к угольно-красной щели заката, где обрывалось...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы непоправимого одиночества.

Но какая безысходность песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне.

Атака

– Что такое атака, спрашиваешь? А ты послушай. Вот перед нами шоссе Москва – Воронеж, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: броском через шоссе перескочить, ложбину перебежать, взобраться на гору, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь – рубит насмерть. Но комбату одно: взять завод – и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял – больше некому. А атака в полный день была – все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился – дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дурилом погрешь – всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И – как угадал в этом соображении. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в овраге железный

хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод – вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в клочья вкось и поперек разодрано, – и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылища в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах – повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировала – и опять «вперед»...

В окружении

Рассказ лейтенанта

– Всю ночь песни и крики какие-то слышны были, аккордеон играл, похоже, гулянье у немцев. Утром три фигуры появляются у них на бруствере: две женщины, а посерединке офицер немецкий. В бинокль вижу: одна чернявая, грудастая, другая – беленькая, с косами, как девочка. И офицер, графин со шнапсом или самогоном в руке держит. Чернявая виляет бедрами, обняла беленькую, кричит таким звонким голосом: «Не стреляйте, нас послушайте. Мы под большевиками корочку хлеба имели, а теперь при германцах живем хорошо, водку пьем и вам предлагаем!» И указывает на графин в руках офицера. Мой политрук шепчет: «Срежем фрица, а, лейтенант?» А у нас две снайперские винтовки, у меня в командирском окопе. «Нет, – говорю, – немца успеешь, никуда не уйдет. Баб-предательниц. Я левую, ты правую». А чернявая кричит: «Переходите к нам, мы вас в чине повысим, любить будем и командовать дадим!» Я взял в прицел ее. Вижу – смеется, а сама волнуется, тискает за плечо беленькую, а та прижалась к ней, ровно к защите. «Огонь по сволочам бабам!» – команду. Я черненькую снял. Так и повалилась. Политрук беленькую. Офицер повернулся и бежать. Я его возле самой траншеи настиг.

...Сто пятьдесят человек в моей роте было, двадцать пять

пулеметов, шесть командиров и медик-лейтенант. Обратно к своим один командир взвода вырвался и трое солдат, со мной – пять. В сорок четвертом под Яссами командовал я отдельной штрафной ротой.

Помимо наших орудий, шесть батарей немецких. Раз попробовали у меня отобрать пушки немецкие, как по уставу лишние. Я говорю: «Не вы мне трофеи дали, я их в бою кровью отбил. И их же снарядами крошить зверей буду». В общем, что-то со мной случилось после непонятных тех баб. И тогда в сорок первом, когда прорывались мы ночью, бежал я по разбитой дороге в лесу, за мной бойцов четверо, бегу, стреляю, а сам думаю:

«До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Но кто ж те бабы? Силой иль пряником их заставили? Или как? Может, не виноваты они?...»

Женственность

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами и бурно клокочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки, отчего по блиндажу, чудилось, ходили волны обжитого на короткий срок покоя. Вверху, над накатами, – звезды декабрьской ночи, ни одного выстрела, успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я первый встретил разведчиков.

Они вернулись, когда все в блиндаже спали, обогретые печью: вдруг звонко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, слышались голоса, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с заиндевелыми бровями, обдав студеным инеем маскхалатов, когда ввели трех немцев-языков в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от снега длинных шинелях, когда блиндаж шумно заполнился топотом ног, скрипом мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в декабрьских полях, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, будто в оцепеня-

ющем ужасе, встала у своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из пленных, высокий, показал в заискивающей улыбке молодые зубы, поднял и опустил плечи, как бы желая погреться в тепле, и тут Верочка, кривясь дрогнула лицом, ее волосы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «вальтера».

Немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откатнулся с разъятыми предсмертным страхом глазами.

И она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически, дергаясь, вскрикивая, обеими руками охватив горло, словно в удушье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, сероглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, разрушающем прежнее – нечто загадочное в ней, что на войне так влечет мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале.

Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась неоткрытым сочувствием и даже жалостью к ней, немыслимо было представить, как можно теперь целовать эту по-детски непорочную Верочку, на наших глазах сделав-

шую то, что не дано природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали трое немецких солдат, надругались над ней – и отпустили, со смехом подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не могли до конца простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе слабость, нежность и чистоту, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.

Реставратор

– Ты говоришь, в жизни все склеишь? Не все, не-ет! Был у меня знакомый реставратор Коля Лошаднин. Мог склеить и волосок курчавый на хвосте у черта, даже скорлупу голубинового яйца соединял, трещинки не обнаружишь, – такие, брат, золотые руки были. А однажды приходит ко мне пьяный, шибко под булдой, прямо в пальто и галошах садится в кухне на табуретку, гляжу: а он чего-то шапкой лысину трет, а сам на пол слезу роняет. «Что, Коля?» – спрашиваю и крепко удивляюсь такой нетрезвости, потому что абсолютно непьющий был, до неприличия. «Не все, товарищ мой сердечный, склеить можно, – отвечает Коля и хлопает, хлопает, – развелся я с женой, дубина балбесовая...»

Сны

Морячок

Грузовая машина въезжала под низкий туннельно железный мост, врезанный в насыпь на окраине города; а слева вдоль насыпи бежал к этой машине с винтовкой за плечом морячок в бушлате, без четко видимого лица, но рот был открыт криком, а форма новенькая, широкие клеши, металлические пуговицы; пулеметные ленты опоясывали грудь крест-накрест, и во всей фигуре его одержимость.

– Вставай! Ты уже спишь два часа!..

Его потрясли за плечо, и он открыл глаза, еще ничего не понимая. Был день к вечеру, солнце перед закатом освещало девятиэтажный дом напротив. Жена стояла около тахты и трогала его за плечо.

– Вставай же! Тебе пора...

«Да, нужно встать, я сейчас встану, – подумал он. – Я устал и лег после обеда... Но откуда тот морячок семнадцатого года в городе?.. Сел он или не сел в машину?»

Он понимал, что ему снился сон, что это нереальность, которая исчезнет, едва он стряхнет сонное оцепенение, но ему непреодолимо хотелось узнать, что будет с морячком, – и снова его окунуло в дремотное забытие, и все вернулось к

нему: так же грузовая машина въезжала под мост, врезанный в насыпь, опять бежал к грузовику одержимый морячок в новом бушлате, опоясанный крест-накрест лентами...

– Вставай же, ты не будешь спать ночь! Ты просил разбудить...

Это был голос жены, и там, где ее голос, – комната, – все в ней казалось раздражающе привычным: и люстра, и закатные стекла в окнах соседнего дома.

Расслабленный сном, он сидел на тахте, открыв глаза, быстро говорил: «Сейчас-сейчас», – но все так же его тянуло туда, в загадочность сна, где морячок бежал к машине, а он должен был узнать, что с ним дальше, и ожидание приносило ему непроходящее удовольствие.

«Странно... – подумал он. – Я ощущаю сон и одновременно комнату, голос жены, время перед вечером, но что во сне дает мне какое-то наслаждение покоя, забвения, и не хочется просыпаться. Да, я думаю и понимаю, что это сон, что нужно вставать, – и не могу, не хочу проснуться. Что же мне приснилось: то время, в котором я никогда не жил?»

Фраза

Видимо, потому, что пришлось отказаться от правки в верстке (перелив абзацев, возможное опоздание журнала), мне каждую ночь снится, будто я правлю и никак не могу выправить текст до конца.

Странное дело – передо мной до ясновидения появляется одна и та же сложная фраза, с периодами, с деепричастными оборотами, однако с явным и неуловимым изъяном в построении, в мысли ее.

Эта фраза на левой полосе верстки непрерывно повторяется в моем сознании – и я правлю ее, переставляю слова, вычеркиваю, ищу синонимы, меняю знаки, но неточно, без удовлетворения, и неисправленная фраза вновь появляется перед глазами, как механическое и повторяющееся наказание.

Я просыпаюсь в изнурительной растерянности и пытаюсь подробно восстановить по памяти эту фразу, мою пытку.

Но – не могу вспомнить... Такой фразы, которая выпукло видна была во сне, нет в романе. Ее создало продолжающее работу неуспокоенное воображение, создало – и мучает меня в забытьи уже не первую ночь.

Часы

– ...В пять проснулся, луна против окошка, жена спит. Туда-сюда повертелся, опять лег – и тут такой сон непонятный в голову полез... Ну надоел, понимаешь ты, этот сон. Будто на работу я пришел, как и полагается, к семи часам, все нормально, а уже в цехе пощупал карманы, глядь – часы и деньги забыл в пальто. Пошел назад, а в раздевалке монтажники какие-то незнакомые. Смотрят на меня, понимаешь

ты, и не узнают. И раздевалка вроде не наша. Уборщица говорит: «Идем, покажу тебе раздевалку». И повела – через какие-то поля, леса. Ну, идем и идем. Все незнакомое: лес, поля вечерние. Ни души нигде. Потом нашли часы на дороге. Поднял я их и снова в грязь уронил. Жалею, циферблат вытираю. Потом назад идем, а навстречу – рабочий знакомый. Я ему: так и так, мол, часы искал. А он: ничего, в ночную смену пойдешь. Ну до того, понимаешь ты, надоел этот сон, сам чувствую, что надоел, а проснуться не могу. Вытираю циферблат, поднес часы к уху: идут. Во сне слышу, что идут. Надоел сон!

Она приснилась

Рассказ режиссера

Она приснилась мне в подвенечном платье, какие никто тогда не носил. Она стояла, с опущенными глазами, тени ресниц были видны на щеках. Я рядом с ней посреди московского двора, а вокруг суетились, бегали испуганные люди, безголосо кричали, задирали головы к небу – низко над крышами партиями шли прямо из зарева бревнообразные самолеты.

Я знал, что бомбоубежище в другом конце двора, а метрах

в пяти справа, за тамбуром, была лестница в подвальчик, там до войны держали дрова, дверь, обитая войлоком. И я тянул ее за руку к этим ступеням вниз, не с ужасом перед бомбежкой, а с таким желанием страсти обнимать, целовать ее в подвальчике, скрывшись от людей, от их животного страха, непонятного мне. И лишь одно я испытывал – ощущать ее губы, ее грудь, обтянутую скользкой шелковистой материей платья. Я так вожаделенно хотел быть с ней вдвоем, так хотел ее близости, что сердце оглушающим колоколом ударяло в висках.

Где мы познакомились – не знаю, не помню... За ее неумело-робкие губы, когда она отвечала на мои поцелуи, я мог бы отдать жизнь – родниковый вкус ее рта не утолял меня, я был подобен изнеможенному несчастному, который случайно испробовал вкус ключевой воды – и не напился...

Четко помню: в том дворе среда мечущихся людей, она стояла как январский ледок, и почему-то не шла со мной в близкий подвальчик, где я представлял ее в объятиях сжигающей меня неутоленной жадой.

Вот и все.

В моей непростой биографии были женщины, которых я любил, наверное. Но кто была та?.. Нет, у нее не было определенных черт лица, я помнил, только что-то овальное, бледное...

Видимо, во сне это была тень женщины или идеал женщины, и лишь должен был я когда-то встретить и полюбить,

но не встретил.

И все-таки, почему Москва, бомбежка? И почему она в немыслимо длинном подвенечном платье?

Посланец

Хмельной после банкета, я бежал по улице провинциального городка, я опаздывал на поезд: оставалось несколько минут до его отхода, а еще надо было собрать, уложить вещи, взять у кого-то билет, купленный для меня.

А из ворот выезжали покрытые рогожей подводы, и у ближней подворотни стоял ко мне спиной человек в нелепо широком плаще, напоминавшем сложенные на плечах крылья, и распоряжался отъездом подвод, жестами командовал возницам, мужичкам с бедовыми глазами.

Я обрадовался несказанно, встретив этого широкоспинного, да-да, у него должен быть мой билет на поезд, этот человек знаком мне: когда-то вместе ездили за границу... Я остановился посреди мостовой, он сейчас же повернулся, но, оказывается, лица у него определенного не было, а было нечто такое, что сообщало мне: у него билеты, он знает номер вагона и мое место в поезде.

Но кто он?

И, не вспомнив его знаменитое имя, я крикнул ему, что бегу за вещами, поэтому опаздываю на поезд и стал просить свой билет, но ответа не последовало.

Не ведаю, где я укладывал чемодан — номер ли был это гостиницы, комната ли в квартире, помню, как среди множества кучек скомканных на столе, на полу бумажек собирал разбросанные вещи, лихорадочно затискивал их в набитый чемодан. Он был переполнен, а я все время что-то забывал и отыскивал забытые мелочи в рассыпанных по комнате бумажных комках, в который раз открывая раздутый чемодан, ожесточением думая, что секунды остались до отхода поезда.

Что я забывал? Какие вещи? В сознание врзалось вот что. Когда с чемоданом неподъемно-чугунным добежал я, вконец запыхавшийся, до вокзала, перрон был абсолютно пуст. Вокруг ни души. А поезд отходил, и двери вагонов были намертво заперты. Тут я внезапно увидел единственного человека, который нежданно появился в красной фуражке и, раскрылив черные полы плаща, спрыгнул с платформы на освобожденные рельсы. Человек в плаще перешагнул через стрелку, потом возбужденно помахал флажком то ли мне, то ли кому-то невидимому за моей спиной, подтверждая конец отправки. И здесь, пораженный безлюдьем вокзала, я отчетливо вспомнил фамилию и профессию этого известного человека, с которым мы когда-то ездили за границу. Так неужели именно он стоял в подворотне ко мне спиной, неужели у него были мои билеты, неужели он был назначен распоряжаться отъездом, и, ступив на пустой путь, подавал знак оттуда, посланец времени?

Этого человека я знал в живых. Он умер лет десять назад.

И утром, спрашивая себя, почему он явился ко мне во сне, пытаюсь по порядку воспроизвести свои замедленные действия в той нелепости спешки, я поразился мысли, пронзившей меня.

Что все это означало: мой срок еще не настал и номер вагона, номер места еще неизвестен на конечной станции?..

У кассы

В длинной очереди я подходил к железнодорожной кассе, а сзади теснили меня, наваливались, дышали в затылок. Потом возникло за стеклом у электрической лампочки лицо с козлиной бородкой, оно, это лицо, что-то говорило мне, я же не мог разобрать ни слова, потому что оглох (наверно, это сказывалась моя артиллерийская глухота после войны), и, неудобно искособочась под напором очереди, прикинул ухом к окошку кассы, не слыша его голоса.

Я ругался, негодовал, однако он ничего не понял из моих слов, а я не понял его. Затем толчком в бок меня отбросили от кассы, и суетливые спины задвигались, сомкнулись, стеной загородив кассира в застекленном окошке.

Этот сон, подобно продолжению, снился мне после первого сна, и опять утром я подумал с надеждой: билет на поезд мне не дали, ибо рано уезжать...

Обман

Она, уже седая, оплывшая, сидела за обеденным столом, и, полуобернувшись, уперев одну руку в жирное бедро, нелепо жестикулируя другой, внушительно говорила о том, что решила обручиться с красивеньким студентом Петей, образованным, непьющим, на тридцать лет моложе... А мы с женой слушали ее покорно, согласно, но я не мог понять, почему так нехорошо, так душно было дышать. Пожалуйста, вот оно случилось что-то противоестественное, чего быть никак не может. Она раньше времени ушла из жизни, устав от земного существования, и, стало быть, немислим этот брак с красивеньким Петей.

Моя жена лежала на диване глядя на ее нелепые жесты, а я думал: зачем она лжет моей жене, доказывая, что отлично себя чувствует, поэтому хочет любить Петю, в то время как ее, этой старой женщины, нет на свете? Ведь я помнил, как в загородном морге я помогал санитару, угрюмому, небритому, перекладывать покойную со стола в гроб, помню, какими чугунными были икры ее коротких ног.

Я бросился к жене, отвел ее в угол комнаты, убеждая, что происходит какая-то дьявольщина, сумасбродство.

И она, поняв меня, затряслась вся, рыдая, засовывая кончики пальцев в рот, будто мерзли руки от страха, от понимания противоестественного.

Погоня

Мы шли по ночному проселку в молчаливых полях, моя жена держала меня за руку, я чувствовал, как ступали ее босые ноги в пыли.

Было так сиротливо в этой ночи, что чудилось: остались мы одни на опустошенной земле.

Когда позади послышался шум мотора, я оглянулся впотьмах равнины появились огни фар – одинокая грузовая машина мчалась по проселку, догоняла нас, и уже через минуту желтые лезвия света уперлись нам в спины, уродливо взметнулись наши громадные тени впереди на дороге, и в тот же миг мы успели отскочить за кювет. Машина с грохотом пронеслась мимо, огромная, тяжелая, похожая на разъяренное чудовище. Мы ошеломленно смотрели ей вслед, не понимая, откуда и куда она бешено так спешила. Я слышал приближающийся вой накалированного мотора и то, что увидел, сказало мне – вот она беда. Машина, подобно рассвирепевшему кабану, поворачивала в поле, вонзая вокруг себя клыки фар, с полоумной поспешностью развернулась и вновь нацеленно, озлобленно, хищно помчалась на нас, как если бы чуяла и знала, что мы еще живы.

С последним усилием я сцепил пальцами кисть жены и, выпуская ее, пополз неизвестно куда, оглушенный лязгом, грохотом, рычаньем этой ненавистой мощи, полз и прокли-

нал себя за беспомощность — где мои родные противотанковые орудия, где хотя бы одна граната? — и обезоруженность испытывалась тем безвыходнее, что в руке моей была стиснута влажная ладошка жены, которую я любил.

Так и остался в моей памяти этот сон: огромный грузовик в ночи и я и жена то ползем, то бежим по полю жизни, пытаясь спастись от злобно-неустанной, настигающей силы.

Не каждого ли человека мучило похожее сновидение?..

Возле дороги

Она сидела на бревнах, такая молодая, деревенская, пшеничноволосая, что я подумал, еще не узнав ее: «Это могло быть в двадцатых годах где-то в России».

Вокруг был первозданный песок, тень падала от каменного дома, единственного около дороги, посреди этого белого речного песка с островками травы, прохладных лопухов, и она, босоногая деревенская красавица, сидя на бревнах, напротив дома игриво окликнула меня по имени, в то время как глядя издали на ее улыбающееся лицо, полузакрытое челкой пшеничных волос, никак не мог вспомнить, кто же она, как ее звать, в каких отношениях были мы с ней... А потом из тумана выплыло, пугающе приблизилось другое лицо женщины, которую я никогда не видел в жизни ни молодой, ни старой, но увидел впервые во сне так разительно, как если бы ждал встречи с ней в двадцатых годах на той песчаной

дороге близ одинокого дома в полевом пространстве.

Рассказ балерины

В двадцатых годах была знаменита, половину жизни прожила в Париже. Вот что она рассказала однажды, когда мы шли с ней мимо православного собора Александра Невского:

– Мне снилось, что меня отпевали в этой церкви, а гроб был возложен так высоко, будто висел неподвижно под самым куполом, а нарисованный лик Спасителя, огромный, скорбный, был наклонен над моим лицом. Его темные страдающие глаза смотрели вниз, а оттуда, снизу, шло жаркое потрескивание свечей, раздавался голос священника, и среди знакомых и родных стоял в слезах мой опечаленный муж. Но этот трепет свечных бликов, множество огоньков поблизости от гроба, на алтаре, в углах храма окружали меня, веяло по лицу райским дуновением, и церковный хор ангельских голосов уносил мое тело в какую-то непостижимую благодать, обещал блаженство, которое было похоже на мгновения любви, и я, находясь вблизи с озаренным отсветами ликом Спасителя, лежа в окружении мерцающих свечей, в запахе тающего воска, таинственных благовоний, думала: «Как это прекрасно! Они плачут по мне, но не знают, как это прекрасно быть здесь, под куполом, за которым летняя ночь, звезды, лежать здесь, слышать эти звуки прощания со мной».

Нет, я никогда не ощущала такого упоения красотой, покойным наслаждением, разлитого в звуках, запахе свечей моего

прощального часа с моими друзьями, с моим мужем, ставшими маленькими, незаметными оттого, что они, живые, не знали подобного состояния.

Но сквозь это вдруг пробилося сознание страха: «Как я могу думать, чувствовать, если меня уже нет?» – и так захотелось рыдать от жалости ко всем, кого я оставила, особенно мужа, детей...

Я проснулась и, чувствуя, что хочу молиться, лежала, глядя на солнечные лучи на потолке, крестясь. Боже мой, ведь самое небесное блаженство – это открыть глаза вот так, как я сейчас, солнечным утром в своей комнате и с удовольствием подумать, ощутив утренний ветерок из окна, затопленного зеленью: «Какое счастье, что я жива!»

«Почему я пожал ему руку?»

Утром, бреясь перед зеркалом, с раздражением увидел морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и вспомнил, как вчера встретился в дверях лаборатории с молодым удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. Карьера его не была определена выдающимся талантом, однако он стремительно шел в гору, защитил кандидатскую, писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким умением нравиться начальству.

Мы не любили друг друга, здоровались издали, наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но он молниеносно преобразился, излучая восхищение и стиснул мне руку со словами:

– Очень рад вас видеть, коллега! На днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и посожалел, что не работаем вместе над одной проблемой!

Он лгал, никакого дела ему не было до моей работы, но мне тоже хотелось ответить принятыми словами вежливости «благодарю», «спасибо», и я затряс его руку так продолжительно, что показалось – его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я говорил осчастливлено:

– Я слышал, начали докторскую? Что ж, это великолепно,

профессор!

Я не знал, что со мной происходит, я говорил фразы, как под диктовку и чувствовал, что улыбаюсь сахарнейшей улыбкой, ощущаемой лицевыми мускулами.

И эта собачья улыбка и трясение его руки преследовали меня целый день — о, как я проклинал второго человека в себе, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли.

Что это было? Самозащита? Благоразумие? Инстинкт раба? Молодой профессор занимал положение в институте, зависимое от исследований моей лаборатории, а она нисколько не зависела от его работы. Но почему с таким упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил фальшивые слова?

Утром, во время бриться я вдруг испытал приступ злости против этого ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, будто надеясь прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить срок земной.

Соседи

Два старичка пенсионера получили двухкомнатную квартиру в новом доме. Въехали в совпавший час, познакомились прямо на лестничной площадке, очень довольные: родных и близких нет, вдвоем не так скучно будет доживать закатные дни.

И решили после расстановки мебели отпраздновать по-стариковски новоселье: в ближнем гастрономе купили бутылку «красненького», минеральной воды, нехитрой закуски. Сели на кухне, еще пахнущей масляной краской, выпили по первой рюмке, по второй, пристальней взгляделись друг в друга, некоторое время помолчали онемело и вдруг оба заплакали.

Один был когда-то следователем, другой подследственным, затем осужденным на длительный срок.

Давнее гадание

В молодости ей нагадали: она будет жить с мужем душа в душу, но не будет иметь детей, вскоре же после ее беременности муж умрет.

Она почувствовала признаки недомогания в сорок девять лет. Мужу тогда было пятьдесят четыре. Ее подташнивало, появилась по утрам жажда, тянуло к соленью. Она пошла к врачу, и тот подтвердил: да, несомненно, это беременность. Он часто говорил о будущем ребенке, а она в молчании смотрела на помолодевшее его лицо и я, вспоминая давнее гадание, неутешно плакала.

Щенок

Субботний мартовский день в Москве. Дымились парком пролысины тротуаров, лужи на мостовых, шло много прохожих, одетых по-весеннему, и он подумал, что через сорок минут уже будет в загородном доме отдыха среди детей и жены, которых отвез на каникулы неделю назад.

После шумного перекрестка свернул на параллельную проспекту дорожку, не торопясь поехал по лужам, объезжая расколотые дворниками глыбы льда, мимо сверканья витринных стекол.

Впереди на солнцепеке у обочины стояла поддомкраченная машина, водитель без пальто, без шапки, в пиджаке, возился подле колеса, отвинчивая ключом гайки и он опять подумал: «Действительно, настоящая весна».

И успев подумать это, заметил вывернувшегося левее поддомкраченной машины щенка: щенок выскочил из-под ног склоненного к колесу человека, темно-коричневый, с длинной мордой, и бросился играющими прыжками, как-то боком навстречу его машине.

Скорость была небольшой, он постепенно нажал на тормоз, но машину катило по льду, и в ту же секунду щенок игриво залаял, затряс смешными ушами, мелькнул под радиатором, послышались внизу какие-то удары, показалось машина проехала по чему-то твердому, и он, обливаясь потом

наконец остановил машину. Затем увидел щенка уже около человека в пиджаке – щенок, мотаясь всем телом, вроде жалуясь, прося прощения, взвизгивал, искательно тыкался мордой в руки хозяина.

А он смотрел на человека в пиджаке, виновато опутившегося перед щенком на корточки, и сознавал, что совершил сейчас непоправимо преступное, как убийство.

Он чувствовал эти удары под машиной и понимал, что щенок в горячке еще двигается, как бы извиняясь за ошибку, тычется мордой в руки хозяина, лижет его пальцы, а человек в пиджаке еще не знает, как ощутимо минуту назад качнуло машину на чем-то твердом.

Человек в пиджаке взял щенка на руки и, продолжая гладить его длинные уши, его голову, испачканную мокрой грязью, выговорил с упреком:

– Какой вы шофер, если не можете остановить машину?

Уже на тротуаре и вокруг человека с жалобно поскуливающим щенком на руках столпились люди, кто-то с неприязнью постучал кулаком по капоту, – и он, презирая себя за инстинктивный толчок самозащиты, сдавленным голосом выговорил:

– А вы... зачем отпускаете щенка на дорогу?..

Он плохо помнил, как выехал из Москвы на загородное шоссе, было пакостно на душе от своей защитительной фразы.

И с поразительной ясностью представлял щенка, когда

тот, играя, смешно тряся ушами, бросился к машине, он слышал удары под днищем, представив, как железо било его по голове, как в смертельном испуге заметался под колесами щенок, не понимая, почему на его игру с машиной ему ответили такой болью.

«Я убил его... Это же он в горячке выскочил потом к хозяину. Как он мотал головой, как тыкался мордой в его руки, спасения искал!..» — думал он уже безрадостно глядя на талый снег на мартовских полях под щедрым солнцем.

Через час, приехав в дом отдыха, он задумчиво поцеловал жену, особенно ласково детей, точно завтра терял на это право, затем пристально смотрел на свою четырехлетнюю дочь, взяв ее на руки, прижимая ее к себе.

Перед зеркалом

В Новый год она остановилась в фойе перед зеркалом и там, в отражении, люстр, нарядных женщин, показалась самой себе такой заурядной, простенькой, что испуганно оглянулась на него и проговорила быстро:

– Уйдем отсюда, скорее уйдем!..

Он понял, о чем она думала, поцеловал ее в висок, сказал успокаивающе:

– Ты смотрела на себя глазами чужой зависти.

И она облегченно опустила руки с покорной благодарностью:

– Спасибо, ты меня все-таки любишь.

«Не надо останавливать машину»

Рассказ моего друга

Мы возвращались с дачи, ехали по шоссе в цепочке машин, смотрели на прямоугольные небоскребы Москвы. Они вырастали впереди как марсианские памятники и наша машина словно въезжала в некий город, незнакомой планеты.

Но вдруг что-то толкнулось в глаза, и, еще не сообразив, что раздражающе помешало мне, я увидел справа машину, отблескивающую вишневым лаком, стоявшую на обочине.

Стекла машины были неплотно завешаны, но в кабине водителя было видно круглое лицо и крупная рука с сигаретой на руле. И тут я понял, что в машине били женщину. Я не разобрал четко лица, лишь увидел, что мужчина стоял на коленях на переднем сиденье рядом с водителем и, наклоняясь, двумя руками, как кот лапами, бил по лицу женщину, а она кричала, пытаясь сжаться в комок, откидываясь спиной и затылком на спинку заднего сиденья. Она пыталась защититься поднятыми коленями, судорожно двигая ими перед собой, отчего задралась юбка, а другая женщина, темноволосая, сбоку злобно отгибала ее оголенные колени, помогая мужчине достать кулаками лицо избиваемой.

Я, не отдавая себе отчета в том, что сделаю или могу сделать в следующую секунду при виде изощренной расправы за стеклами автомобиля, повернул к обочине, где стояла эта

современная камера пыток, и сейчас же услышал предупреждающий голос жены, сидевшей рядом:

– Я тебя прошу – не надо останавливать машину!

– Ты посмотри, посмотри, что они делают с женщиной!

– Вижу. Но, может быть, она сама ужасно виновата.

Лицо жены, привыкшее к гриму, было серым, как бывало всегда после спектакля, после умывания в артистической, и я вдруг впервые увидел две незнакомые морщинки, не тронутые тоном, возле ее накрашенных губ, колечком охвативших сигарету.

Она не сказала больше ни слова. Она курила и в задумчивой рассеянности сбивала пепел длинным розовым ноготком.

Я тоже молчал, изредка косясь на жену, я любил и ревновал ее, независимо от двадцати прожитых вместе лет, и, пораженный двумя морщинками у ее губ, ее загадочной фразой, думал, что все-таки она предала меня с кем-то или предаст в некий злочастный день.

Ночной разговор

В конце спящего вагона было открыто окно, занавеска, подхваченная ветром, щелкала по стене, а он, сильно выпивший, стоял в коридоре на сквозняке, держал в руке куриную ножку, тер ею о пижаму, нелепо размахивал ею и доказывал какому-то молодому человеку, покачивающемуся с каблуков на носки и уныло икающему:

– В-вы – молодежь, у вас энергии больше, чем у нас опыта! Ежели бы вместе соединить, не было бы з-заноз разных! А то занозы в нашей жизни всякие бывают! Она, заноза, организму до смерти повредить не может, а боль приносит! Верно или нет, спрашиваю?

– Дядь Петь, не влезай в дразги, нервы береги, по науке – и... все! Ты ку... курочку покушай.

А тот, выпивший, сердито суживая щелочки глаз, тыкал куриной ножкой молодому человеку в грудь, с досадой доказывал крикливо:

– Ни жрать, ни есть я не хочу! Я тебе об чем толкую? О философии. А ты об чем мне? О пузе. Есть разница или нет? Они вошли в купе, стукнула дверь, приглушила голоса.

Взгляд

Я видел это на пригородной танцплощадке. Веселый, горбоносый, ловкий, он пригласил ее танцевать с таким зверским видом, что она испугалась, глянув на него оторопелым взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания.

– Что вы, что вы!

– Раз-решите? – повторил он настойчиво и показал зубы деланной улыбкой. – Мне будет оч-чень приятно.

Она оглянулась по сторонам, как в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой:

– Наверно, у нас ничего не получится. Я плохо...

– Ничего. Пр-рошу. Как-нибудь.

Он танцевал бесстрастно, высокомерно не глядел на нее, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряженные глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову – вокруг перестали танцевать, выходили из круга, слышался свист, за ними наблюдали, видимо, его приятели невозмутимо передразнивали ее движения, от смеха.

Ее партнер каменно изображал городского кавалера, а она все поняв, всю непростительную низость партнера, не оттолкнула его, не выбежала из круга, не сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. Он, удивленный, склонился к ней, а она

снизу вверх замедленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемым выражением опытной женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. Мне показалось, он переменялся в лице, и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повел ее к колонне, где стояли ее подруги.

У нее были толстые губы, большие, как бы погруженные в тень диковатые глаза. Да, она была бы некрасивой, если бы не длинные ресницы, русые волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший ее в красавицу.

На круги своя

Когда они остановились в деревне на целый день, выкупались в реке под названием Камышинка, где вода как сквозь толстое стекло показывала на песчаном дне зыбкую игру, серебристое брызганье мальков по донным камням, когда переоделись, полежали на лужайке и бодро стали подыматься в деревню по тропке мимо зарослей малины, откуда тек запах июльского сада, она сказала образованно:

– Слава Богу, это еще есть на свете. В Москве невозможно стало жить: шум, грохот, нечем дышать. Издерганные, раздраженные люди... Я хочу тебя поцеловать, хороший мой. Спасибо, что ты показал свой детский рай.

– В последние годы мне Камышинка часто снилась. Я рад, ты увидела ее хоть сейчас. Через десять лет после того, как мы поженились.

– Я хотела бы здесь жить каждое лето. Если бы ты раньше открыл мне свой благословенный край, где нет ни химии, ни заводов! Как дышится, ты чувствуешь? Какая здесь ласковая вода!.. И сколько рыбы – озера и реки просто кишат ею!

– Кстати, нас ждет уха. Мой дядя – заядлый рыболов.

– Я тебе сказала в первый день: ты не удержишься и тоже будешь окать, как и все. И вот, пожалуйста: ры-бо-лов. Как хорошо ты округлил «о». Знаешь, почему у вас окают? Первое, что видит ребенок за порогом дома, это – озеро, «о» – в

начале, «о» – в конце. Понимаешь – озеро?

– Ты несравненная моя выдумщица...

– Знаешь, лучше жизни не выдумаешь. Я ведь родилась на Урале, а это так похоже.

– Пойдем. Нас ждет уха.

– Пойдем, пойдем, – сказала она со смехом, подражая ему в оканье, проявившемся в его речи.

Потом в саду, под яблонями, их угощали ухой, сваренной тут же на костре, в рыбацком ведерке; ели ее, обжигаяще горячую, деревянными ложками, а уха, как и тысячи лет назад, пахла костром, рекой, осокой, и на этот древний запах человеческой сытости залетали к столу, звенели над тарелками полосатые осы, затем явились две заспанные кошки, сладостно мурлыча, принялись тереться об ноги под скамьями, то и дело мерцая оттуда намекающе прижмуренными глазами.

Напившись пахучего чаю с медом и пышками, такими домашними, что они таяли во рту, мужчины с удовольствием покурили, после чего гости через заднюю садовую калитку спустились, усталые от еды, к берегу и здесь, в заливчике, посидели на полувытянутом из воды баркасе, оглядывая предзакатное небо с грядами перистых облаков, деревню, разбросанную на бугре, над луговой низиной, где косо вытягивались тени от круглых копен сена, пахнущих к вечеру приторно, и тут она опять сказала серьезно:

– Не понимаю одного – почему даже в этой деревне так

много пустых и забытых домов? Судя по всему, здесь никогда плохо не жили...

– Большинство мужиков не вернулось с войны. Но кое-кто и сейчас за бесценок продает свои дома и уезжает поближе к городским удобствам. Кстати, рядом с домом дяди продается пятистенок – просят всего пятьсот рублей.

– Что такое пятистенок?

– Огромный домина с пристроенной кухней.

– И так дешево?

– Совсем даром. Видишь, вон там, слева, дом с резными наличниками, за сосной?

– Да-да, вижу. Ведь это целый дворец. И сад большой. И какие удивительные наличники!

– Такие наличники делают у нас сорок ден. Вернее, когда-то делали.

– Ты знаешь, я хочу сейчас же, немедленно посмотреть этот дом!

Минут через десять хозяйка пятистенного дома, старушка лет семидесяти, довольно бодрая, разговорчивая, показала им чистенькие, оклеенные цветочными обоями комнаты с расстеленными половиками от порога до порога, с сохранившимися полатями, крепкими лавками, обширной русской печью, что выходила своими боками на две комнаты и кухню, которая выделялась медным дореволюционным самоваром на покрытом клеенкой столе, роем жужжащих мух за занавесочками на окнах, заставленных геранью, – везде (несмот-

ря на сухость дома) был плесенный запах старого дерева, какой издают выдвинутые ящики, открытое нутро древних буфетов в антикварных магазинах. Высушенные пучки лекарственных травок, развешанных на стенах, не перебивали этот неистребимый запах, ибо дом впитал в себя дух столетних устоев, простой еды, нехитрых особенностей трудовой жизни.

Ее поразила чистота и этот въевшийся в воздух комнат запах опрятного в прошлом быта, где все когда-то было иным, и с чувством жалости она посмотрела на старуху, когда та без сожаления, без вдоха попросила за дом «четыре с половиной сотельных окончательно», объяснив причину такой продажи переездом к дочери в Ленинград: «мну-чонка нянчить».

Торговаться было бы неприлично, старуха просто дарила свой дом, и оба, смущенные, попросили ради серьезности дать им денек подумать – и вышли на предвечерний воздух, еще светлый после заката.

Они вновь безотчетно пошли к реке, а она, оглядываясь на дом, проступающий на горе взволнованно говорила, что сама судьба помогает им жить здесь хотя бы месяц летом, в этом краю детства, что ни минуты нельзя сомневаться, надо завтра же утром заплатить половину денег или полностью за дом и решать, как мало-мальски оборудовать его с относительными удобствами (привозной газ, маленькая газовая плита), кроме того, – сломать полати, что нависают над

столом и портят комнату, заменить обветшалую мебель, покрыть драночную крышу шифером; в общем, конечно, не так много хлопот и затрат, если сравнить с баснословной стоимостью дач под Москвой. Но уже следующим летом они могут приехать сюда, в заповедный уголок, омолаживающий их души.

– Боже мой, так дешево купить возможность жить в русской Швейцарии, – говорила она по-прежнему взволнованно, взяв его под руку. – Жить летом здесь – разве можно мечтать о чем-нибудь другом? Только надо немножечко косметически подновить кое-что в доме. Ты знаешь, я привезла бы сюда старую тахту чешскую, и финские стулья с зеленой обивкой, и горку для посуды. Они уже давно мешают нам в квартире, а здесь – прекрасно.

– А как с погребом? Ты видела, какой замечательный?

– Ну, это необязательно. Погреб – несколько неудобно. Холодильник непременно нужен. И водопровод... То есть холодная вода нужна.

– Да, но отличный колодец возле дома. Я обещаю аккуратно носить воду. По два ведра хрустальной колодезной. А будем умываться во дворе из железного рукомойника.

– Рукомойника с таким гремучим железным носиком? Великолепно! Я тоже так считаю. И все-таки на кухне постоянно нужна вода, и можно сделать маленький водопроводик при помощи электронасоса. Мы с тобой видели его в хозяйственном магазине на Кутузовском.

– Хорошо, я согласен.

– Нет-нет, неужели за четыреста пятьдесят рублей она продаст нам этот чудесный дом? И неужели мы будем жить в нем летом?

И снова они говорили о немыслимой дешевизне дома, о том, как по своему вкусу оборудовать комнаты, сделать их уютнее, кухню удобнее, как привезти из Москвы мебель и расставить ее с учетом скромной дачи, а не городской квартиры. Воображение рисовало тот облегчающий день, когда они войдут в отремонтированные комнаты, с выкрашенными полами, вьетнамскими плетеными ковриками, новыми занавесками на промытых окнах, удобным холодильником и фаянсовой раковиной на кухне, войдут в этот собственный теперь дом, заменивший им дачу в шестистах километрах от Москвы, в удачно подаренный судьбой дворец, какого, наверное, ни у кого из знакомых градолюбцев не было и быть не могло.

Он слушал ее, стараясь представить этот обновленный ими большой дом, видел себя, и жену, и гостей в закатных сумерках за столом вокруг пахучего самовара.

«Что это мы?» – вдруг подумал он, еще не поняв в ту минуту причину тревоги.

И почему-то не ощутил прежнего волнения от волшебной встречи с обретенной им детской первозданностью родственных мест, мгновенно что-то неумолимо вытеснялось иным весомым, предметным, затмевая властный соблазн не

своей силы, подменяющей все существующее естественное
фальшивыми купонами.

Бегство

Конец мая, южная ночь, цикады. Луна, низкая, душная, повисла над морем, и мерцающий конус протянулся до самого берега, густо цветущей сиренью.

– Вы чувствуете? – спросила она и остановилась выжидающе. – Хотите, я вам рыб покажу? Они сейчас не спят.

– Не уверен, – сказал он. – Впрочем, что ж... посмотрим рыб.

Когда сквозь кусты по перечеркнутой тенями тропке приблизились к водоему, между зарослей кувшинок, плавала луна, и вспугнутая лягушка шлепнулась в листья водорослей, луна закачалась, дробясь.

– Ой, – вскрикнула она с притворным испугом. – Жаба!

– Может быть. А где же рыбы?

– А вон там! Не видите? Вон там их целое семейство, и большие и маленькие. По крайней мере, я утром видела.

– Да-да, в самом деле, и большие и маленькие.

Он хотел поцеловать ее, но она отклонилась и, держа его руку книзу, смотрела ему в лицо смеющимися глазами.

– Да-да, в самом деле, вы их видели утром.

Он привлек ее за спину, с усмешкой сильно обнял, и вдруг близкое лицо ее стало серьезным.

– При чем здесь рыбы? Я не хочу...

Однако, самоуверенный, избалованный, он чувствовал:

она ждала, чтобы он поцеловал ее, а сопротивление было кокетливой попыткой разжечь его, продлить одурманивающие минуты перед сближением, которого хотели оба.

Некоторое время они, глядели в глаза друг другу, потом неспеша пошли вдоль забора мимо спящих хат с навесами дикого винограда над двориками. Здесь, в сплошном треске цикад, выделялось зудение комаров: она то и дело хлопала себя ладонью по локтям, по коленям, говорила капризно:

– Как они надоели! Почему они вас не кусают?

И он опять обнял ее, и опять она отстранилась, сказала по-прежнему капризно:

– Не надо же. Мы испортим все.

– Почему?

– Мы можем случайно далеко зайти... Разве вы отрицаете детскую игру? Ну, например, пускать зеркалом зайчиков? Как это прекрасно и невинно. Правда? Я не люблю грубую игру.

– Игру? – переспросил он. – Ах, да, ясно. То есть не совсем...

– Тогда пойдемте по жердочке через пропасть. Хотите? Когда вы балансируете над пропастью, замирает сердце: и страшно, и чудесно! Согласны?

И они пошли по дороге, обдаваемые зябким духом сирени.

– Я бы обняла этот куст, как сестру. Чувствуете аромат? – проговорила она шепотом. – Луна просто чародейка! Так хо-

рошо, что я сейчас буду молиться, как монашенка.

– Монашенка? – повторил он добродушно. – Слушайте, вы мне голову заморочили напрочь. Я как на карусели. Вы начали невероятную игру, и я сейчас запрошу пощады.

– А вы знаете, мы с вами были бы плохие «он и она», если бы это, не дай Бог, случилось.

– Почему плохие?

Она засмеялась.

– На нашу так называемую семейную жизнь уходило бы слишком много душевных сил. Но в конце концов это интересно. Не люблю тихих мужчин и тихих девиц, ангелов во плоти!

– Поверьте, я ангел не очень тихий, – сказал он полушутливо и сзади за плечи повернул ее к себе, поцеловал легонько в края губ. – Вот видите, все время сатана где-то маячит за моей спиной, – сказал он, уже решительнее отклоняя ее голову, и опять поцеловал в сжатые губы.

Нетвердым движением она высвободилась, вопросительно, исподлбья вглядываясь в него, потрогала свой рот, проговорила:

– Разве так можно? Вы поцеловали меня как-то... странно.

– Сказочный разврат, – сказал он.

Они миновали улочку садов и пошли по набережной, в коридоре душных тополей, а над морем, за горизонтом время от времени мерцали молнии отдаленной грозы.

– Ах, какая тоска! – сказала она вполголоса. – Какая сладкая тоска в этой непонятной луне, в этих молниях, в том, как вы меня поцеловали...

– Простите, не понял.

Она не ответила и они остановились под огромным тополем и, она, с зажмуренными глазами откидывая назад голову, подставляя приоткрытые губы, сказала невнятно:

– Я еще хочу...

Он понял и шутливо повторил ее недавнюю фразу:

– Мы идем с вами по жердочке через пропасть. К чему это приведет? Обломится жердочка – и мы в бездне разобьемся о камни.

– Ну и пусть! – ответила она с каким-то вызовом. – В лунную ночь совершаются самые тяжкие преступления.

Он снова коснулся ее губ, чувствуя как они шевельнулись под его губами, выдыхая:

– Хочу преступления, хочу преступления...

И плотно прижималась к нему всем телом, закрыв глаза, терлась щеками и подбородком о его, ищущий рот, и раз, когда на миг он перестал касаться ее, она, попросила шепотом.

– Еще, еще... Господи, какие у тебя хорошие губы...

Он длительно целовал ее, гладил ее спину и бедра со снисходительной нежностью баловня женщин.

Внезапно она вырвалась, оттолкнула его и быстро пошла прочь по набережной, застучала каблуками, часто дробя лунную тишину ночи.

Он догнал ее.

– Подождите! Куда вы?

– Я не могу, – сказала она, задыхаясь. – Что вы со мной делаете?

– Да что случилось? Куда вы заспешили?

– Ничего не случилось. Просто пора уже сказать «до свидания».

– Сядем. Вот скамья. Сядем, пожалуйста.

– Мне хочется упасть на землю, а не сесть – сказала она с тоном насмешливо к нему. – Вы измучили меня.

Он так решительно сдвинул ее, так притиснул к себе, что у нее синевато блеснули сжатые зубы, она выдохнула:

– Мне больно.

– Хорошая моя, вы рассердились?

– Я хочу, чтобы это было, – прошептала она ослабленно. – Или вы меня боитесь? Или себя?

– Перестаньте говорить глупости, – грубовато прервал он, все теснее обнимая ее, покорную, и вместе с ней качнулся к деревянной скамье под тополем.

Потом они сидели на этой скамье, и она непослушным голосом говорила:

– Ты хороший! Но почему так все получается? Я хочу, чтобы ты был сегодня, сейчас мой, а я твоей. Мой, понимаешь? Ведь это разные слова – «полюбить» и «влюбиться». Полюбить – это навсегда, на целую жизнь. А влюбиться – это как наваждение, как сон... на несколько дней, на одну ночь,

на один час, и пусть будет как у нас, пусть так!..

И дышала на его руку, целовала в ладонь.

«Как это все театрально, — думал он с отвратительным самоунижением к своей неводержанности. — Какие пошлости говорим, какие несуразности делаем. Кому это нужно — ей, мне? Любовная игра от крымской лени, и я изображаю сорокалетнего пресыщенного повесу, а она — женщину без условностей, обманывающую себя фразами о влюбленности. Прости меня, грешного, неужели так, в игровом обмане, мы пытаемся бежать от самих себя?»

Предел и надежда

Я пытался найти слово, а оно было связано с чем-то прощальным, с каким-то грустным значением, завершающим смысл, целую жизнь.

Неужели это слово – «последнее»? Последний час? Последний вечер? Последняя любовь? Последняя страница?

В этом слове должна быть в перелеске, на бугре полуразрушенная церквушка, пронзающая одиночеством среди полей, предзимний крик галок над заросшими бурьяном куполами и стальная темь пруда, старая плотина...

В этом слове – утрата надежды, затихающие шаги, обрыв следа впереди и такое безысходное состояние человека, вдруг узнавшего свой неизбежный день, и это несравнимо со всеми страстями человеческой жизни.

Но вместе с тем «последнее» – это предел, за которым неизбежность неведомого начала – новой земли, новой надежды, новой страницы?

Париж, воскресенье

Воскресный Париж безлюден. Все еще спят за плотно закрытыми жалюзи, за розовеющими занавесями мансард, спят и машины у обочин тротуаров, под платанами. Успокоено поблескивают, не отражая будничную толпу, витрины закрытых магазинов, и за опущенными решетками ювелиров дремлют драгоценные портсигары, золотые кольца, роскошные ожерелья, как-то потерявшие нужность в часы утреннего покоя вместе с этими словно брошенными машинами у подъездов домов.

В уже открытых уличных кафе столики по-раннему сдвинуты, стулья перевернуты, посетители редки: Париж спит часов до одиннадцати.

Ближнее кафе, куда я зашел купить сигареты, еще не заполнено, лишь трое посетителей пьют кофе подле стойки.

В углу дремотно шуршит музыка, сам хозяин, толстенький, добродушный, механическим ножом режет только что принесенные девушкой из соседней кондитерской длинные хрустящие булочки, подмигивает молодому человеку с тонкими усиками, говорит намекаяще:

– ...Ее оставил в постели? Выпьешь чашечку и опять к ней? Завидую тебе, Жан. Я уже старик для забавы. Мои воскресные утра – вот с булочками, и слава Богу...

Высокая девушка, принесшая булочки, проворно моет бо-

калы и смеется, поглядывая на молодого человека, говорит не без вызова:

– Ты только не замучай ее, Жан. Я думаю, ты все делаешь очень серьезно. Ты деловой парень.

Молодой человек молча кладет деньги на столик и, выходит, засунув руки в карманы узких джинсов, обтягивающих его спортивный зад.

Я тоже выхожу из кафе и иду по парижским улицам, довольный своей затерянностью в свободном одиночестве.

В полдень Париж напоминал южный город, на Больших Бульварах многолюдно, пестро, шумная толпа обтекала, окружала какую-то испанского вида женщину, с резко подведенными глазами, гадающую по линиям ладони наглолицему подростку. В толпе что-то ему советовали, а возле огромных реклам кинотеатра «Парамоунт» продавали каштаны, распространявшие манящий на краю тротуара, не обращая на толпу внимания, целовались два лохматоволосых существа в длинных пальто, а вокруг гарь выхлопных газов, газетные киоски, так густо, плотно завешанные цветными обложками иллюстрированных журналов с роскошными телами и ликами манекенщиц, что в глубине киосков, за этой завесой почти не виден позевывающий от духоты продавец; в кинотеатре «Нептун» порнофильм «Моргана и нимфы»; на площади Клиши – другой фильм, «Эротика Парижа», на плас Пигаль – кинотеатр ужасов, – террор, Дракула, женщина-вамп; неподалеку магазин «секс шоп», где в академической тишине

молчаливые люди разных возрастов, не подымая глаз, неторопливо просматривают, книги, посвященные вариантам и вариациям любви; игральные бары с разными установками – от имитированных автомобильных гонок до снайперских винтовок, нацеленных в силуэты; здесь можно купить искусственный «вибратор» для больных женщин («самый эластичный, самый гигиеничный»), популярные пластинки и посмотреть через глазок фильм-стриптиз, опустив франк в автомат; рядом с барами дорогие витрины, кричащие модными сорочками, костюмами, элегантными галстуками; самодовольные ювелирные магазины, кричащие золотом и бриллиантами, как сама пресыщенность; вблизи этого богатства непрспаные, накрашенные девочки выглядывают из подъездов с протяжным призывным «Алю-ю-у?» Вблизи подъездов молодые люди с курчавыми височками сутенеров вкрадчивой скороговоркой предлагают адреса; под тентами уличных кафе, за столиками, покрытыми красными и белыми скатертями, сидят и протяженно пьют аперитив, оранжад, кока-колу, минеральную воду, при этом с равнодушным любопытством глазеют на проходящую мимо толпу, что в общем-то так привычно для парижан, непонятно когда работающих, бывающих в семье; пожилые дамы высокомерно гуляют с собачками, одетыми в жилеты; шоколадные красавицы-мулатки выделяются в толпе женственно-узкой раскачивающейся походкой; толкаясь на углах, тонконогие, высокие негры поглядывают на них вожаденно; группы седых

некрасивых американок то и дело щелкают фотоаппаратами, выказывая смехом вставные зубы; а вот букинистические киоски на берегу Сены с самым немислимым разнообразием выставленных здесь репродукций и книг, постоянно окруженных парижскими библиофилами, и рядом уходят к небу готические башни Нотр-Дам – внутри звучат фуги Баха, идет воскресная месса. А по соседству с Нотр-Дам, на Сите, под платанами, – маленький птичий рынок, как-то по-детски озвученный желтыми попугайчиками в клетках. Степенные косматопалые голуби с бирюзовыми глазами; тут же беспрестанно жуют, двигая носами, кролики; красные галльские петухи вскрикивают с драчлив рыцарским вызовом при мимолетном взгляде друг на друга; всюду юные лица, смех, щебет птиц, воркование голубей, говор стариков, продавцов, непримиримая воинственность петухов придают этому дню неизбывность, милую пестроту жизни многомиллионного города, который напоминает мне мое детство в замоскворецких переулках, совсем непохожих на Париж, с русской прелестью прохладных задних дворах, с возней голубей в нагульниках, пронизанных через щели солнечными нитями, с чириканьем воробьев в сараях, неповторимо пахнущих березовыми дровами, под жареной коноплей и перьями – запахами моего детства.

Венеция

Мчались по прямому шоссе мимо бензоколонок, гигантских рекламных щитов, предлагающих самое вкусное пиво «Перони», комфортабельные фордовские машины для Европы, мимо радиальных ракушек «Шелл», шестиногих драконов, изрыгающих из пасти красное пламя высокооктанового бензина, мимо придорожных ресторанов, видневшихся на холмах вокруг острокровельных средневековых замков. Подобно трубам дредноутов, дымили заводы, над садами – и вдруг появилось раздражение против нескончаемых заводских эскадр на обетованной, обласканной когда-то Богом земле.

Но это чувство в Венеции прошло – и ощущение прощенья, когда возвращаясь на пароходике к пристани, где на набережной находился отель.

Венеция могла бы стать городом поэтов, писателей, живописцев, центром кипящего искусства; здесь писались бы романы, поэмы, создавались драмы, выходили разного направления журналы, в ресторанчиках на набережных собирались бы литераторы, и за бокалом мартини велись споры о судьбах слова, о последнем романе Моравиа или Леонова, о пьесе Беккета или фресках Микеланджело. Как хорошо было бы пройти утром по еще влажноватой площади Святого Марка, где уже завтракают туристы в открытых кафе, а вечерами

неспеша шагать по ее брусчатнику, устав от многодневной работы в какой-нибудь снятой мансарде.

В полдень набережные переполнены молодежью, праздными туристами – смех, крики, зазывающие голоса гондольеров в широкополых шляпах; на площади Святого Марка тучи голубей мелькают над храмом и Главным каналом, опускаются с шумным треском крыльев, снуют под ногами с такой безбоязненностью, что опасаясь наступить на этих полновластных здесь хозяев; моторные лодки, заменяющие такси, расходятся в разные стороны по каналам, нагоняя волну, которая колышет мусор, обрывки газет, бутылки, апельсиновые корки, обмывает каменные морды львов около подъездов. Из-за поворота сказочно мощенных улочек, в каньоне домов вдруг раздается предупреждающий крик, и на повороте за аркой нависшей над головой, щелкает внезапно фотоаппарат, и – весь пленительная улыбка – парень, не без любезности снявший вас со встречной лодки, бросив в гондолу свернутую бумажку – адрес, на тот случай, если захотите взять фотографию. Повсюду из открытых окон доносятся молодые голоса – и оттуда живо выглядывают приветливые юные лица, из окон машут вашей гондоле руками. Город привык к чужестранцам и относится к ним с радушием; да, здесь все необычно: и узкие улочки в центре города, где идешь, как по лабиринту, меж вывесок, баров, витрин крохотных магазинов, цветистых, рассчитанных на любопытный глаз туриста; мосты через каналы, закоулки,

площади, где от века стоят храмы и памятники; и здесь же детские коляски, толкаемые молодыми матерями, кажущимися в коротких юбочках чрезмерно длинноногими, возбужденные, мальчишки с криком, брызганьем, толкотней пьют прямо из фонтанчика посреди газона; и незаметная на углу афиша французского кинофильма «Женщины»; и стрижки в сумерках площади с писком садятся на карнизы храма; и брусчатник, успокаивающий своей прочностью; и каналы, каналы, красноватая зелень воды, под скамьями и стенами, омываемыми сотни лет, — все это наводило на мысль о людях с воображением, когда-то построивших в морской лагуне сказочный город.

Город Арнхем, 100 км от Амстердама

К вечеру поразила яркостью незашторенных окон – зажигались люстры, торшеры, бра в гостиных, и повсюду открытая глазу жизнь семейная, домашняя как бы вынесена была на улицу.

Еще в Амстердаме мне объяснили, что «открытые окна» возникли в конце Первой мировой войны, когда стали строиться дома новой архитектуры.

Мы остановились в маленьком «Рейн-отеле», таком мило-курортном, что было непривычно приятно его безлюдье после многолюдного амстердамского аэропорта и часовой езды по автостраде.

Уже заполняя регистрационные листки в вестибюле отеля, усталом ковре, заглушавшим шаги, мы слышали голоса из ресторана, красновато озаренного настольными лампами, кто-то негромко играл вальс из кинофильма «Доктор Живаго».

В номере ослепили два конверта постели на двуспальной кровати с ночниками в изголовье; портье поставил чемоданы, показал, деликатно приоткрыв дверь в ванную, сверкнувшую кафелем и зеркалами, мохнатым ковриком на полу.

С явным удовольствием я развернул тугой конверт-постель, и хрустящая простынь, стерильный пододеяльник, пуховое лоно подушки поманили неодолимо...

Проснулся я от мычания коров. Где я нахожусь? Что такое? Занавеска на окне выделялась лиловым квадратом; наверное, забыл потушить бра в коридорчике и занавеска озарена из открытой двери передней.

Я отдернул занавеску. Внизу, омывая террасу закрытого до сезона кафе, тек в долине Рейн, плоско-свинцовый, с песчаными пляжами, по которым бродили взъерошенные ветром чайки. На том берегу мычали коровы. Слева выступал в пасмурном небе устремленный в дождливые тучи костел, рядом на площади не было ни души. Справа над террасой летнего кафе – огромные окна полукругло висевшего над берегом ресторана, там, за стеклами, двигался причесанный мальчик-официант, расставлял приборы на столиках.

Мы завтракали в этом ресторане с видом на Рейн, сидели совершенно одни, в турецких кофейниках принесли кофе, молоко в крошечных металлических сосудах с птичьими носиками, ягодный джем, пластинки масла, ломтики белого и черного хлеба в целлофане.

Было какое-то ленивое умиротворение в тишине ресторана, мысли текли ленивые, скучные, как осенний дождь, который начал сеяться из низких туч, застилая туманом и неприятные пляжи Рейна, и чаек, и костел посередине площади.

Все-таки есть красивенькая тоска в курортных европейских провинциях осенью.

Щегол

Щегол всю свою птичью жизнь поет одну песню неизменного содержания, однако каждое утро и перед закатом поет страстно, с одержимостью гения. И все же соловей – гений, щегол – талант, сорока – почти бездарность. Но, вернее, щегол талантлив лишь в чудесную пору летнего утра и всегда неповторимого конца дня, прощаясь на целую ночь с солнцем.

Звездные часы детства

Вот начало этого настроения:

«На западе прозрачным леденцом стояла меж стогов сена луна, и длинный хвост Большой Медведицы опустился к побелевшему востоку. Уже выпала роса. На речных заводах в упоении стонали лягушки...»

Когда я видел и чувствовал все это? Я представил околицу деревни на берегу реки, и в этой ночи увидел себя босого, невыспавшегося, от ожидания рыбалки. На моем плече елозила тяжесть влажного весла (всю ночь лежало в траве), другое весло нес мой брат, и мы спускались к заводи, где под откосом в сумраке волна шлюпала у просмоленных днищ.

И это раннее утро до сих пор связано с как бы рожденной рекой, зарей, деревьями, холодным песком. Полуметровые язи с огненно-красными плавниками, упруго рвались на леске перетяга, который мы поставили вечером, они боролись с нами, выскальзывали из рук, эти круглоглазые красавцы речных глубин, покрытые рыцарским панцирем. Они лежали потом на дне лодки, ударяя хвостами, и чувствовал я какой-то священный восторг при виде этой пойманной красоты и вдыхал в себя первозданный запах обмытых темью коряг, где недавно царствовали они, толстоспинные и самоуверенные властелины вод.

Щекотно-мужское чувство ловца, охотника я переживал

в детстве не однажды, и всякий раз ликование победы охватывало меня. Возможно, токи предков пульсировали в моей крови, напоминая о том первобытном времени, когда само существование рода человеческого зависело от удачной охоты.

Но все же я испытывал наслаждение не от добытой тогда пищи, а от той холодной упругой плоти красноперых язей, что никак не преобразовывались в моем сознании во что-то, имеющее вкус еды, необходимой человеку для продолжения жизни. А было восхищенное удивление перед пойманными живыми золотыми слитками, знаками непостижимой тайны реки, и всего того утреннего мира...

Единое

Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются.

Свобода

Когда человек судорожно держится за жизнь, он находится в данном ему телесном рабстве. Как только исчезает алчное насыщение жизнью, наступает свобода от страха смерти. И тогда человек свободен безгранично.

Написанное

Когда-то увиденное мною в жизни «сидит» в моей памяти до той поры, пока с потерями точности и красок я не перенесу их на бумагу.

Но стоит освободился от этих засевших в памяти картин настроения, наступает облегчение, хоть и не до конца удовлетворяющее. И то, что было в реальности, воспринимается только через написанное, через зафиксированное на бумаге – и я уже не возвращаюсь к использованной памяти, несмотря на то, что отраженное на страницах книги явно не равно бывшему когда-то на самом деле. Удалось ли мне передать неповторимый осенний Днепр в «Батальонах», или «воздух» возвращения в «Тишине», или безумием боя в «Горячем снеге», но теперь я избавлен от некоторых ощущений, воспоминаний, связанных с событиями моего поколения.

Лес и проза

Если в летнем лесу человек способен испытывать очарование зелени, солнечных светотеней, то он не замечает корявых веток под ногами, пней, безобразного сушняка в чаще.

Все это не портит общего ощущения любви к сущему, и от удовольствия ходить по земле.

Так бывает и в мудрой прозе, которую следовало бы называть добрым судьей, приведенным к присяге самой жизни.

Тот день

Иногда я пытаюсь вспомнить первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что может вернуть меня в навивную пору удивлений, восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?

Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение сверкнувшего настроения – это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, утраченного с вечным, детского со взрослым, подобно тому как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения – толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, исхлестывая травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первобытной трескотней кузнечиков, заселивших сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем вы-

жигаемых злым солнцем до колючей терпкости пахнущего лошадьми воздуха...

Но первое, что я помню, – это высокий берег реки, где мы остановились после ночного переезда.

Я сижу в траве, укутанный в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер, а рядом тоже укутанная в палас сидит какая-то бабушка, кроткая, уютная, домашняя. Она наклонилась к нам, своим телом согревая и защищая от рассветного ветерка, и все мы смотрим, как очарованные, на малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно близкий, искрящийся в глаза брызгами лучей, что все мы в затаенном ритуальном восторге сливаемся со всем этим на берегу безымянной степной реки.

Как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, и нас на том бугре, наклоненных слева направо, тесную нашу кучку, укутанную тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, – вижу лицо под деревенским платком; оно рождает детскую защищенность и преданную любовь к ней и ко всей прелести открывшегося на берегу реки степного утра, неотделимого от родного лица никогда позднее не встречавшейся, воображаемой мною бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминаю осколочек полуяви-полусна, то будто впереди открылась вся доброта поднявшегося из травы солнца, встреченного нами в этом длительном переезде ку-

да-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню время переездов и приближения к невиданной и неизведанной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей памяти деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой проступает какой-то расплывчатый в очертаниях город, с церквями и садами, незнакомый большой город.

Я не вижу самого себя – в доме ли я или возле дома. Лишь представляю завалинок, истоптанную копытами дорогу – от дома к реке – и близости беспокоящей меня до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было на свете. А вернее – она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая осталась в моей памяти.

Я лежал на арбе в таком душистом сене, что кружилась голова и вместе кружилось над мной звездное небо, такое устрашающе огромное, какое бывает в ночной степи, там и тайнодейственно перестраивались созвездия. В высотах за белым дымом, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось, в небесных глубинах, пугающее и непонятное...

Наша арба переваливалась по степной дороге, я плыл

между небом и землей, а внизу вся степь была заполнена металлическим звоном сверчков, не прекращающимся ни на секунду, и казалось мне, что сверлило серебристо в ушах от распыляющегося Млечного Пути.

И по-земному подо мной покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль хватала колеса, доносилось пофыркивание невидимых лошадей. Это привычно возвращало меня на землю, в то же время я не мог оторваться от тягивающего своими звездными таинствами неба.

Потом рядом зашевелился отец, я услышал заспанное покрякивание, ощутил дымок табака, знакомый и терпкий; отец сел на сене, поглядел по сторонам, взял винтовку и двинул затвором с железным стуком, вынул обойму и вщелкнул опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.

Но и никогда потом не повторялось того единения с небом, того немного восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.

Талант и слава

Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.

Бывает, что есть и слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости – солидная, так сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.

В период «массовой культуры» не часто встречается писатель божеского слияния имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами.

Мгновение мгновения

Что же руководит миром и всеми нами? Может быть, это раскаленная бездна вселенной, поглощающая в утробе расплавленные тела созвездий и целые галактики? Может быть, именно эта наивысшая власть определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение Земли, рождение и гибель, подобно тому, как земная природа создает в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, в рождение вкладывая срок конечный?

Немыслимо представить огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то в непознаваемой тьме, на каком-то пересечении космических координат летит, вращается пылинка – Земля, которой наивысшая сила мироустройства сообщила определенную энергию и срок существования согласно общим законам вселенского механизма.

Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг, что смерть – нерасторжимая тень жизни, неразлучный ее спутник в любви, молодости, успехе, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность – это безграничное время, и вместе с тем нет времени у вечности.

Если долголетие Земли – мгновение микроскопической

крупницы мировой энергии, то жизнь человека – мгновение наикратчайшего мгновения.

26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард лет. Никому не известно, с чем был связан этот взрыв – со смертью или рождением новой звезды, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, ее превращение в черную дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено взорваться и умереть, своей смертью, образуя совсем уж загадочную белую дыру.

Кто точно ответит, каким законам, каким силам вселенной подчинена стихия и эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в жизнь?

Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят (по Библии), почему так, быстротечна молодость и почему так длительна старость. Мы не сможем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить, как причину от следствия. Прискорбно, но не стоит и переоценивать понимание человеком своего места на земле – большинству людей не дано познать смысл бытия, цель собственной жизни. Ведь нужно прожить весь

данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. Как иначе осмыслить это? Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений?

Но человек не хочет согласиться с тем, что он мизерная крупичка пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе.

Беспокойная эта мысль изредка мелькает в его сознании, он отстраняет ее, он защищается, успокаивается надеждой – роковое, неизбежное, не случится завтра, еще есть время, еще есть десять лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев...

Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. При всем этом многие люди отделены друг от друга бездонными провалами, и тоненькие жердочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их.

И все же сознание человека, наделенного умом и воображением, вмещает и ледяную жуть звездных совершающихся таинств, закономерную трагедию краткосрочности жизни. Но и это не придает его поступкам тщетности, подобно тому, как не прекращают неутомимой деятельности и муравьи, озабоченные, видимо, полезной необходимостью ее. Челове-

ку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле, не задумывается, что лето сменяется осенью, молодость – старостью и даже ярчайшие звезды гаснут. В его убежденности – пружины, действия, страстей. В его гордыне – легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.

Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку опыт разума и чувства, и таким образом остаться бессмертным?

Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.

Имя этого судьи – правда

Вряд ли кто-нибудь из нас рискнет определить современную литературу как морализаторскую притчу или как очерковый комментарий к событиям дня, выдаваемый за философское осмысление жизни.

Нет, цель современного искусства – разумная организация сознания, внесение в мироустройство нравственного порядка, социальной концепции природы и человека.

Сегодня невозможно отгородиться от мира каменной стеной Древнего Китая с его смертельным запретом проникновения к чужой культуре. Поэтому едва ли сейчас на Европейском, Американском и Азиатском континентах можно найти абсолют обособленного, очищенного национального искусства. Человечество объединено единым земным шаром, он стал удивительно тесен, уменьшен невероятными скоростями новой науки.

Когда известный японский критик Кендзи Симицу говорит, что «современная культура импортируется главным образом из США...», когда в Канаде создается Союз писателей с главной целью воспрепятствовать импорту американской книжной продукции, когда французская интеллигенция сетует на засилье джазовой заокеанской музыки, когда крупнейшие итальянские режиссеры заявляют, что западное кино «волочит за спиной груз американского доллара», что

они, американцы, «требуют, чтобы кино не пробуждало сознание, никуда не звало». Когда мы соприкасаемся с переводными американскими романами последнего времени, то бесспорно начинаем понимать: в мировой культуре что-то случилось (слово «что-то» я употребляю здесь, имея в виду роман Джозефа Хеллера), и понятий добра и зла не существует, а сам Вельзевул взмахами обожженных недавними войнами крыльев ставит на страницах книг печать оцивилизованной тоски, безрадостного пресыщения.

Главная проблема Запада – пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием – рождает размытость жизнеспособной моральной доктрины.

Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.

И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают «границы между „я“ и „не-я“». Возникает отчуждение, ибо «истин на земле столько, сколько и людей». И потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых ин-

стинктов). На замену пришло судорожное развлечение, дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных лабиринтах городов, где целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум в последние два десятилетия, превратив искусство, в прибыльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, наркотики, алкоголь беспомощными врачами душевного одиночества?

Стереотипный стандарт «массовой литературы» заменили индивидуальности талантов, и это преддверие искусства постиндустриального общества.

Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и внешне, казалось бы, всесильные цивилизации, погребенные песками пустыни.

Что ж, может быть, культура Европы прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к унылому закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршалский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут, погребен эстетический кумир, и европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями – куда и сколько ему лететь?

Для того чтобы продолжать любить человека, современ-

ному художнику нужны прочные точки опоры.

Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин – это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти.

Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства и самих себя. И здесь возникают проблемы социальные.

Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деидеологизации» отрицает социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многошумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском – во всех пен-клубовских диспутах не доставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.

Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Деятнадцатый век был временем

критического реализма. Не заслуживает ли критики наш индустриальный век?

В советской литературе нет всемирного пессимизма, нет черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я».

Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия – эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее бесцеремонной непрерываемой властью.

Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» – она пытается сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.

В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма, разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.

Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.

Шедевр в прозе появляется на свет, когда диктатура идей родственно соединяется с диктатурой образа.

О любой литературе не следует судить по ее среднему уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?

И хотя подчас сложно провести границу между великим и смешным, мы склонны говорить, что поверхностное искусство всегда претендует быть пряным и кокетливо-модным, в то время как подлинное искусство – это не изобразитель «личных впечатлений», а целый мир, воспринятый сквозь разум и чувства при постоянном присутствии Верховного судьи, приведенного к присяге. Имя этого судьи – правда.

Мое поколение

Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны – в них все было «когда-то»...

Просыпаясь в окопе, я чувствовал, как рассветным холодом несло с вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве знойно трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, потом с громом и с молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем – на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, синий дымок самоваров на даче под Москвой.

И как бы несовместимо с этим другой сон – крупный снег, неторопливо падающий вокруг фонарей в переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.

Эти несвязные видения не были законченными снами, это

возникало как отблеск, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, потных лиц солдат, наводчика, прикинувшего к наглазнику панорамы, осиплых команд, горячей травы вблизи огневой.

Удаляясь, уходя из дома, мы упорно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в прерванную войной юность.

Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.

За четыре года войны, каждый час чувствуя огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что хватило бы на жизнь двум поколениям.

Мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Порой мы ненавидели солнце – оно обещало летнюю погоду и, значит, косяки пикирующих «юнкерсов». Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно обнажать во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых еще вчера мы называли по имени. Мы узнавали мир

вместе с человеческим подвигом и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что трава может быть аспидной и закручиваться спиралью от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные города, зияющие провалами окон и подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались огоньки папирос под обугленными тополями парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения – Освенцим, фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по черным крестам танков и бронетранспортеров, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была беспощадной и грубой школой, мы сидели не за партами, в аудиториях, и перед нами были не конспекты, а

бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых вещей, в будничной жизни, – мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.

Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались – ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей появились в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами – и мы зачарованно смотрели угадывали их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем ранимее было ощущение юного и солнечного мира наших ожиданий – все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, рождало терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.

Наше поколение – те, что остались в живых, – вернулось

с войны, сумев сохранить, в себе этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в душе естественный цвет неба, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в сумерках и вечерний снегопад...

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – значит не забывать Людей, не забывать Людей – значит не забывать Время. Быть историчным – это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор солдат в окопе перед атакой, увидеть слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, сконцентрировано в человеческой душе.

И вот этот фокус чувств чрезвычайно дорог мне.

Сталинград

В аккуратном чистеньком номере мюнхенской гостиницы мне не спалось. Фиолетовый сумрак декабрьской ночи просачивался сквозь залепленное снегом окно, вкрадчиво-дремотно пощелкивало в тишине электрическое отопление, а мне казалось, невероятным, что я нахожусь в немецком городе, откуда началось все: война, кровь, концлагеря, газовые камеры.

Я вдруг отчетливо вспомнил утренний разговор с мюнхенским издателем и стал просматривать газеты. И тотчас в глаза бросился крупный заголовок – «Сталинград», а под ним несколько фотографий: суровая сосредоточенность на лицах немецких солдат за пулеметом среди развалин города, танковая атака в снежной степи, молодцеватый автоматчик, расставив ноги в сапогах-раструбах, хозяином стоит на берегу Волги.

В статье выделялись давно знакомые имена и названия: Паулюс, Манштейн, Гитлер, группа армий «Дон», 6-я полевая армия.

И лишь тогда я понял, почему издатель попросил меня просмотреть эту газету.

Утром во время встречи с ним, узнав, что я интересуюсь материалами Второй мировой войны, издатель развернул передо мной газету, сказал: «Хотел бы, чтобы вы встретились с

фельдмаршалом Манштейном. Да, он жив, ему восемьдесят лет... Но думаю, что он побоится разговора с вами. Солдатские газеты много пишут о нем в хвалебном тоне. Называют его стратегом и даже не побежденным на поле боя. Задайте ему несколько вопросов, чтобы старый пруссак понял, что он участник преступления. А, впрочем, сейчас...»

Издатель довольно решительно подошел к телефону и через справочную узнал номер фельдмаршала. Я хорошо слышал последующий разговор. Старческий голос в трубке надолго замолчал, как только издатель сказал, что господину фельдмаршалу хочет задать несколько вопросов русский писатель, занятый изучением материалов Второй мировой войны, в том числе, конечно, и Сталинградской операции.

Длилась томительная пауза, потом старческий голос не безудивления переспросил: «Русский писатель? О Сталинграде? – и опять после паузы, с пунктуальностью военного: – Какие именно изучает он вопросы?» Затем, после осторожного молчания: «Пусть изложит письменно вопросы». Затем, после длительной паузы: «Я все сказал в своей книге „Потерянные победы“. О себе и о Паулюсе». И наконец: «Нет-нет, я никак не могу встретиться, я простужен, господин издатель. У меня болит горло. Я плохо себя чувствую».

– Я так и думал, – сказал издатель, положив трубку. – У этих вояк всегда болит горло, когда надо серьезно отвечать.

В сущности, я не очень хотел бы этой встречи с восьмидесятилетним гитлеровским фельдмаршалом, ибо испыты-

вал к нему то, что испытывал двадцать пять лет назад, когда стрелял по его танкам в незабытые дни 1942 года.

Но я понимал, почему фельдмаршал, этот «не побежденный на поле боя», опасался вопросов о Сталинградской операции...

Нет, я никогда не забуду морозы под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело, все металлически звенело: снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевелившие ремни и портупей на шинелях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.